

АЛЕКСАНДР МАЛИНОВСКИЙ
ИЗБРАННОЕ

Александр Малиновский

Избранное. В 2-х томах. Том 2

«Лариса Малиновская»

1991–2005

Малиновский А. С.

Избранное. В 2-х томах. Том 2 / А. С. Малиновский — «Лариса Малиновская», 1991–2005

ISBN 5-87449-042-6

«Шурка давно, уже и не помнит с каких пор, живет у деда – Ивана Дмитриевича Головачева. Еще до того, как пошел в школу. Родной отец его пропал без вести в войну, а неродной Василий Федорович лежит в военном госпитале, в Куйбышеве. Вот и получается, что у Шурки как бы два отца. У Шурки и два отца, и два дома...»

ISBN 5-87449-042-6

© Малиновский А. С., 1991–2005

© Лариса Малиновская, 1991–2005

Содержание

Под открытым небом	6
Госпиталь на Молодогвардейской	6
Юрьева гора	8
Кошка Акулина	9
«Эй, Баргузин...»	11
Договор	13
Молодая пряжа	14
Отец приехал	15
Пожар в школе	17
Новая Шуркина жизнь	18
Художественный руководитель	20
«Придет времечко-то...»	22
Осечка	24
Рождество	27
Поединок	29
Полонез Огинского	31
Поляков из Покровки	35
Пусть поплачет	37
Письмо Жукову	40
Маслянка	42
Картина	44
Речка Утевочка	45
В дебрях Уссурийского края	47
Изба Горюновых	49
Аксюта Васяева	50
Зимним вечером	51
Королевский суп	54
Ответ от Жукова	55
Жаворонки	56
Транспорт	57
Было море	59
Верочка Рогожинская	61
Чужаки	63
В Лаптаевом переулке	66
Под синей юбочкой	68
У Лопушного озера	72
За старицей	75
Два Василия	78
Сухопутный пушкарь	81
У Кунаева ключа	83
Вороняжка	86
Шуркин колодец	87
Ночной разговор	90
Тягомотина	91
В грозу	93
На пилораме	96

В ревунах	98
Чивер и голуби	101
В клубе	105
Веня Сухов застрелился	108
Чирки	109
Пиковая дама	111
Разговор двух мужчин	112
Конец ознакомительного фрагмента.	114

Александр Станиславович Малиновский

Избранное. Том 2

Под открытым небом

Госпиталь на Молодогвардейской

Шурка давно, уже и не помнит с каких пор, живет у деда – Ивана Дмитриевича Головачева. Еще до того, как пошел в школу.

Родной отец его пропал без вести в войну, а неродной Василий Федорович лежит в военном госпитале, в Куйбышеве. Вот и получается, что у Шурки как бы два отца.

У Шурки и два отца, и два дома.

Один дом – бревенчатый с резными наличниками, построенный задолго до войны, после того, как Головачевы вернулись из Сибири, куда они бежали от голода в Поволжье. В Сибири Шуркин дед шорничал, плотничал, скорняжил – вот и скопил денег. Девятерых детей родила Агриппина Федоровна – жена Головачева, а выжили трое: Екатерина – мать Шурки, Алексей и Сережа.

Другой Шуркин дом – без потолка, саманный, крытый соломой. Пол не глиняный, а деревянный. Скрипучий, некрашенный, но крепкий. Когда Екатерина его моет, то обязательно скоблит косырем. От этого он становится желтым, а изба нарядной. В этом доме у Шурки мама, брат и две сестренки. Оба дома стоят в одном ряду на улице Центральной, заросшей травой-муравой.

Последнюю неделю в доме деда разговоры чаще всего связаны с приездом из госпиталя отца Шурки.

Слова «госпиталь», «Молодогвардейская» преследуют его всю сознательную жизнь. От них веет на него мрачной, недоброй силой, в которой сошлись воедино скрежет металла, свист пуль, вой снарядов, запах дыма огромного пожарища, поглотившего его родного отца, а вот теперь не отпускавшего и неродного.

Госпиталь на Молодогвардейской для него – пасть огромной раскаленной печи, которая только была прикрыта заслонкой, в ней бушевала еще не усмиренная стихия, название которой «война», и в этой огненной пасти метались, коржились, ломались, полыхая как сухой хворост, судьбы молодогвардейцев, красноармейцев и многих, многих людей в военной и невоенной форме. Чудовище, чудище – другого названия этому дому не могло быть.

...В прошлом году Шурка, впервые приехав с бабкой своей в госпиталь, удивился увиденному: стоял обычный дом, почти как все. Дом двухэтажный, с большими, таких в Утевке нет, окнами. Не страшный и не грозный, а совсем наоборот: приветливый.

Когда их пустили к отцу, он удивился еще больше. Ему дали надеть как взрослому белый халат, правда, не по росту и весь в каких-то ржавых пятнах, но ему было не до них. Поразила чистота. Было много белого. И отец лежал на белой постели, прикрытый одеялом с белой простыней. Такой постели он никогда не видел; у них в доме простыней не было.

Отец лежал на спине, ровно вытянувшись.

Шевелить он мог только головой и руками, еще правой ногой. Левая была в гипсе.

Название болезни – туберкулез костей – звучало как приговор.

– Садись рядышком, – сказал отец и неожиданно улыбнулся.

Шурка сел, пожал отцу левую руку.

Он боялся расплакаться. Кто-то из ходячих больных подошел к нему и надел на голову сделанную из обычной газеты пилотку. Он тут же снял ее, повертел в руках, к общему одобрению решительно надел и почувствовал, что комок в горле исчез, а слезы, предательски готовые его выдать, пропали.

Когда вышли от отца на улицу, Шурка не сразу оторвался от этого странного дома. Он напоследок попробовал обойти его, заглянуть во двор. И там ничего ужасающего не было. Все обыденно и спокойно. И улица Молодогвардейская неширокая, а та, которая пересекает ее – Ульяновская, совсем неказистая. Правда, когда Шурка свернул на нее, вправо от госпиталя, открылась глазам Волга. Внизу, слева, справа ютились в беспорядке небольшие кирпичные и деревянные домики. Беспорядок этот смутил Шурку, он жил на деревенской улице, где избы стояли точно как по линейке, не выступая и не западая на зады. Дома в селе смотрели окнами на улицу. В них жили такие же правильные люди: дедушка, бабушка, мама – сосредоточенные и уравновешенные.

Напоследок он измерил шагами поперек, напротив госпиталя, эту самую страшную улицу Молодогвардейскую. Было сорок шесть Шуркиных больших шагов.

«Саженой пятнадцать, наверное», – деловито прикинул он, неосознанно готовясь то ли к разговору с дедом, то ли к рассказам в школе о своей поездке. Если бы его спросили, зачем он делает свои измерения, он бы не смог объяснить.

Пока бабушка в коридоре госпиталя «калякала» со своим знакомым с Черновки, Шурка измерил и длину госпитального здания. Было шестьдесят шагов. «Наша деревянная школа длиннее», – удовлетворенно подвел он итог.

Жажда знать и видеть как можно больше подталкивала его постоянно. Это отмечали в нем и взрослые. А он неосознанно впитывал в себя все, что видел, слышал, словно знал заранее: в его жизни многое из того, что происходило в детстве, будет иметь самое, может быть, главное значение...

А пока текла Шуркина жизнь обыкновенно. События и переживания случались вроде бы сами по себе, и ложились они сразу набело в его сознании. И накрепко...

На улицу вышла баба Груня, и они с Шуркой подались на Кряж, надо было засветло найти попутку до Утевки.

...Теперь Шурка, прислушиваясь к разговорам взрослых о приезде отца, вспоминает, как они долго по бездорожью в снегопад добирались домой и ему становится боязно за отца. А вдруг у него кости еще не так крепко срослись, как надо? Тогда опять беда.

Юрьева гора

Замечательная эта штука – Юрьева гора. Она начинается на задах, за избой Головачевых. Гора бывает разная. Если на дворе мороз крепкий, то политая водой, она превращается в такой ледяной желоб, что с ветром в ушах мчишься с нее в сторону стадиона и упираешься в памятник Проживину и Пудовкину – первым утевским большевикам. Их расстреляли белочехи. Шурка сидит в классе рядом с Зинкой, внучкой Проживина. Она самая тихая девчонка в классе. Даже как-то удивительно это.

Если много снега, то на горе здорово играть в городки. Она становится неприятельской крепостью, ее надо брать у противника в кулачном бою. Те, кто вверху и кто внизу, попеременно меняются местами. Выигрывает тот, кто дольше всех продержится наверху.

Если с горы съезжать сразу в бок – в огороды, то там уклон крутой и с трамплином, редко кто может удержаться, на лыжах лучше и не пробовать – гиблое дело. Салазки – совсем иное.

И еще есть одна особенность у Юрьевой горы. Бабушка Груня Шурке так рассказывала:

– На последнем месяце я уже была, иду себе потихоньку с базара, он был недалеко, около школы, и слышу: шум стоит в Зубаревом переулке, а на Юрьевой горе – какие-то чужие военные. Привели наших бедненьких, все они избитые. Не успела я понять, что готовится, как затрещали выстрелы, оба они и упали на дорогу в пыль. Я побежала к себе на двор. Не помню дальше ничего. Когда опомнилась – начались роды, хорошо, что мой Иван дома был.

Только разродилась, белочехи во двор: они большевиков и сочувствующих ловили. На деда твоего кто-то указал. Он ведь убежал из царской армии под Царицыном, дезертир. Деваться некуда. Едва щеколда хлопнула, Иван – раз под кровать – и притаился.

Не знаю, как у меня сердце не разорвалось. Офицер молоденький стоял в задней избе, а в передней проверял средних лет солдат. Когда он приподнял подзорник у кровати, под которой лежал Иван, я обмерла. Но чех этот быстро опустил подзор и развел руками, что-то сказал громко офицеру, тот махнул рукой, и они выбежали во двор.

Там на памятнике год и число: «21 августа 1918» – это день расстрела Проживина и Пудовкина, но это еще и день рождения твоей матери, Шурка.

«Завтра попрошу Зинку показать мне фотографию ее деда, интересно какой он. Если они герои, значит про них и про нашу Юрьеву гору и Утевку когда-нибудь снимут кино», – так думает Шурка и ему становится радостно, как если бы он сам был участником героических дел, прославивших его село.

Кошка Акулина

«Ночь была жуткая: выл ветер, дождь барабанил в окна. И вдруг среди грохота бури раздался дикий вопль. То кричала моя сестра. Я спрыгнула с кровати и, накинув большой платок, выскочила в коридор. Когда открыла дверь, мне показалось, что я слышу тихий свист, вроде того, о котором мне рассказывала сестра, а затем что-то звякнуло, словно на землю упал тяжелый металлический предмет... О, я никогда не забуду ее страшного голоса! – Боже мой, Элей? – кричала она. – Лента! Пестрая лента!»

Мяукнула кошка в сенях за дверью, просясь в дом. Шурка покосился, передернул плечами. Жутковато. Ходики показывали час ночи. Он и не заметил, как зачитался записками о Шерлоке Холмсе. Открыв дверь, впустил кису Акулину, недавно взятую его матушкой у дряхлой старухи Акулины Мерлушкиной.

– Шурка, будет колготиться, ложись спать.

Голос матери доносился из передней избы, и он на цыпочках шмыгнул к двери, ведущей в горницу, подсунул полотенце, прикрыв дверь плотнее, чтобы свет не проникал и не мешал спать. Налил кружку молока, взял горбушку хлеба и вновь уселся за стол, да так, чтобы подальше от темного широкого окна, пугающего своей мрачной глубиной.

Глаза побежали по строчке:

«Сестра была без сознания, когда он приблизился к ней...»

Странная возня на шестке отвлекла его от чтения, он поднял голову и увидел неотрывно глядящие прямо на него из темноты желтые глаза кошки, черное тело ее почти не было видно, оно сливалось с темным зевом печки. Нутро добродушной днем, а теперь ставшей какой-то враждебной печи и два устремленных беспокойных взгляда пугали его. Правой передней лапой кошка начала царапать по кирпичу.

– Тихо, Акулина, – зашептал Шурка, – маму разбудишь. Я не дочитаю рассказ, ведь завтра с утра в школу, а потом с дедом ехать за соломой.

И он углубился в чтение. Но не тут-то было. Кошка одним прыжком перескочила с шестка на стол и стала драть когтями клеенку. Шурке показалось, что она приняла снегирей, изображенных на клеенке, за живых, и он рассмеялся.

– Вот дуреха, – сказал голосом, похожим на дедушкин, когда тот разговаривает запрягая лошадей, – нету у тебя нюха, что ли, ведь не пахнут они мясом, клеенкой пахнут.

Кошка спрыгнула со стола, стрелой, с невидящими, дикими, как у пантеры, глазами проскочила мимо Шурки, по отвесной стене взбежала до потолка, там ухватившись за торчащий крюк, повисла как обезьянка и глазами, страшными и большими, стала осматривать комнату сверху.

Шурке стало жутковато, хотя он не сразу бы признался себе в этом. Упруго оттолкнувшись, Акулина прыгнула на пол, сделала два прыжка и оказалась на противоположной стене вновь под потолком. В следующие минуты Шурка уже не успевал фиксировать взглядом стремительное перемещение черной молнии с двумя желтыми светящимися точками-глазами.

Кошка взбегала не только на отвесную стену, она перемещалась по потолку. Временами падала, вскакивала и вновь как заведенная дьявольская игрушка металась по стенам, по потолку...

Шурке стало не по себе. «Взбесилась, – подумал он. – Хорошо, что все спят, а то вдруг покусает».

Он распахнул дверь. Акулина, казалось, только этого и ждала – черной лентой скользнула в раскрывшееся темное пространство и растворилась в нем...

Шурка, не дочитав книгу, приоткрыл дверь в большую комнату и шмыгнул в свою кровать. Необъяснимое волнение охватило его. Черное с желтым все стояло перед глазами, наваливалось, став громадиной, пугало. Но вскоре усталость взяла свое, и он заснул.

...А утром пришедшая на сепаратор Нюра Сисямкина принесла новость: этой ночью, под утро, умерла бабка Акулина – бывшая хозяйка кошки. Преставилась бедная на девяностом году.

– Вот так да, – только и произнес Шурка. Он не знал, кому и как рассказать о ночном происшествии.

Стал искать кошку Акулину, но ее нигде не было.

«Эй, Баргузин...»

– Бабушка, Баргузин – он кто?

– Как кто? Ты-то что думаешь? И что это вдруг?

Шурка сидит на пороге двери, разделяющей горницу от кухни, зажав между колен корзинку из ивовых прутьев. Из нее он набирает в кружку ягоды шиповника для чая.

Бабушка Груня чистит карасей – дед утром ходил проверять сети.

Замороженные караси ожили, и из тазика, стоящего на столе, когда бабушка вынимала очередного, летели водяные брызги.

– Я не вдруг. В воскресенье, когда Веньке Сухову Варьку сватали, дедушка пел про Баргузина.

Шурка вспомнил тот замечательный день, дедушку, сидящего среди гостей, и песню, которую услышал впервые. Там было новое для него слово: «баргузин». Песня лилась за столом широко, вольно и пел ее уверенно и ладно Шуркин дедушка. Захватывали бескрайность и безбрежность, разлитые в песне:

«Славное море священный Байкал...»

«Священный Байкал» – это он сразу отметил. Баргузин представился ему крепким белозубым загорелым парнем, по пояс обнажившим свое тело, и обязательно кудрявым.

– Так это ж ветер такой на Байкале.

– Да, – разочарованно проронил Шурка. – Вот дела!.. Бабушка, а про отца моего, – он запнулся, подбирая и обдумывая слова, – про настоящего, поляка, скажи что-нибудь, какой он был?

– Красивый был. Когда на базар с товарищами приходил, все девки на него оглядывались. Волосы светлые, кудрявые и голубые глаза. Смотреть умел прямо и приветливо.

– А как он оказался в Утевке?

– Провинился чем-то перед властями, вот и очутился у нас. Не любил, когда его называли Стасом. Ему нравилось имя Саша. Мы его так и звали. И тебя он наказал, если будет мальчик, назвать Сашкой.

– Бабушка, а что он говорил, когда его забирали в армию?

– Просил нас с дедом помочь воспитать ребенка, который родится, Катерина тогда на пятом месяце была. Обещал вернуться.

– И не вернулся? – выдохнул Шурка.

– Время такое. Он поляк – могли не пустить после войны в Россию.

Грех на него какой-то положили.

– Но он жив? Так ведь!? – почти выкрикнул Шурка.

– Откуда ты это знаешь?

Она помолчала, потом продолжила:

– Раза два, после войны уже, приходили к нам незнакомые люди, спрашивали о твоей матери Катерине и о Василии. Я помню, как зорко они на тебя смотрели, спрашивали: ты ли сын Стаса, и уходили ничего не сказав. А я вот чувствую своим бабыим сердцем: от него эти люди приходили, узнавали про тебя.

Вздохнув, задумчиво добавила:

– Может, он пожалел и Катерину, и Василия: ведь он уже один раз ломал их жизнь. Станислав и Катерина сошлись, когда она уже замужем была за Василием, только от него ни слуху, ни духу, от Василия-то! А когда Василий вернулся, в сорок шестом, и все устроилось, и тебя он усыновил по-хорошему, не поднялась у Стаса рука – не захотел мешать. У твоей матери один за одним от Василия родились трое. Как все поделить? Вот и получилось у тебя два отца. Один еще живой, а другой – может, и живой, да не знай где.

«Как все поделить? Как все поделить?» – стучало в висках у Шурки. Он не заметил как выпустил из рук корзинку, она опрокинулась, и весь шиповник оказался на полу. Горстями собрав ягоды, он поставил корзину на порог, а сам быстро ушел в горницу к окошку, чтобы бабушка Груня не увидела его заплаканного лица.

Договор

Только Шурка поравнялся с чайной, как вот он, Мишка Лашманкин с уздечкой в руках из Заколюковки – самой дальней Утевской улицы. И не один – со своим дружкой Каром. Правой рукой Шурка быстренько нащупал большую белую чернильницу-непроливашку.

Мишка подошел поближе и вдруг, словно включив некую пружинку, будто танцуя лезгинку, помчался по кругу около Шурки:

Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.

Кровь ударила в лицо. Шурка рванулся вперед и враз оказался перед непреодолимой преградой: Мишка крутил перед собой уздечку, она со свистом и металлическим лязгом вращалась перед самым лицом. Кончик ремешка больно хлестнул Шурку по щеке.

– Слабо, да? Слабо?.. Конечно, слабо!

– Тебе слабо самому – один на один, – у Шурки нервно тряслись руки, и он уже ничего не боялся.

– Нужно больно, нам сегодня некогда, давай до следующего раза, согласен? – предложил Кар.

– А Мишка согласен? – спросил Шурка.

– А чего там, конечно, согласен. Договор дороже денег. – Мишка с напускным спокойствием перебирал в руках удила. И уже удаляясь, совсем как маленькому, а оттого еще обиднее, скорчил рожу и пропищал:

Поляк, поляк, с печки бряк —
Растянулся, как червяк!
И не русский, и не немец
Гутен морген, гутен так.

«Семиклассник, а такой дурень», – подумал с досадой Шурка.

Молодая пряха

В низенькой светелке
Огонек горит.
Молодая пряха
У окна сидит.

Голос дедушки ровный и красивый всегда завораживал Шурку. Сейчас его дедушка сидел в горнице, на облитом солнцем полу на маленьком чурбачке и вязал сетку, вернее – бредень, закрепив веревочки за дужку железной кровати.

– Если два выходных еще повяжу, Шурка, то, глядишь, в апреле отводом поедем рыбачить новым бреднем.

– А как это – отводом? – спросил внук.

– Долго рассказывать. Поедем – сам увидишь, – отозвался дед Иван и вновь вспомнил о молодой пряхе:

Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.

Шуркин дедушка всегда пел негромко и неторопливо. Как бы для себя, будто вокруг никого нет. Ему не нужны большие компании. Он вечный одиноличник, никогда не был в колхозе. А зачем ему колхоз: его постоянная должность – конюх. В больнице, в нарсуде, в райсобесе есть лошади, значит нужен и Иван Дмитриевич.

Шурка любил, когда дедушка пел в дороге, в степи ли, в лесу... Когда дорога впереди длинная, а вокруг ни души.

В прошлом году на маевку приезжал Волжский народный хор. Артисты выступали на самодельной сцене, сделанной около Осинового озера, где ровная площадка и от нее круто поднимается косогор, он и служил как бы трибунами. Вокруг луговая трава, озеро Подстепное – слева, справа – Осинное и Лещевое, а дальше, где синева ложится большим широким полотном с белыми кудряшками на зеленую необозримо широкую ленту леса, прячется Самарка, от нее всегда исходил особый свет.

Когда объявили песню «Липа вековая», Шурка даже вздрогнул: «Дедова песня»!

Вышел бодрым шагом красивый артист и запел. Это была другая песня, вернее, слова были те же, мелодия почти та же, но – другая. Певец был напорист и резок, он будто бы с кем-то спорил, доказывал что-то. А дедушка никогда этого не делал. Он пел спокойно, ровно, чаще всего под мерный бег лошадей, сидя на телеге или рыдване, от того-то песня удобно ложилась в монотонный топот конских копыт. Дорога чаще всего была знакома, лошади свои, цель дороги впереди ясна. Тревоги не было, было умеренное, установившееся приятие всего, что есть в пути и что еще будет. Была уверенная сила, спокойная и добрая...

Певец кончил петь, все захлопали. Захлопал и Шурка, но неуверенно и растерянно. В красивых нарядах танцоров, певцов, в громких восклицаниях и припевках ему показалось что-то неестественное. Он не стал больше слушать, сел на свой велосипед и, направив его почти по прямой с откоса, вихрем независимо промчался мимо самодельной сцены и большой старой ветлы в сторону Лещевого озера – там у него стояли пять раколовок, надо было до вечера их проверить и вернуться домой.

Отец приехал

Два последних дня Шурка ждал приезда отца. Баба Груня и деда Ваня уехали за ним на Карем, уложив в сани валенки, старую бекешу и огромный тулуп.

В Самару они поехали через Кряж, а обратно планировали – через Кинель, чтобы при необходимости заночевать у лесников: в Мало-Малышевке у Репкова, в Крепости – у Янина, дорога дальняя – под сто километров.

– Все, Шура, – говорила мать, – начинается у тебя новая жизнь. Ты уж будь умным, соображай что к чему.

– А что, мам?

– Ну хотя бы жить тебе надо бы теперь не у деда, а в своем доме, а то нехорошо как-то.

– Хорошо, мам, но только деда с бабой на меня не обидятся?

– Нет, не обидятся. Можно у них бывать, но ночевать лучше домой, ладно?

– Ладно, – соглашается Шурка, а сам знает, как будет непривычно, у деда всегда интересно: рыбалка, охота, разговоры разные, люди из соседних деревень, чтение вслух книг. Дядя Алексей и Серега – с ними всегда здорово.

– Я уж и не знаю, к лучшему это или нет, что Василия поехали забирать? Бабка твоя скомандовала: «Хватит – и все, уморят там мужика, раз встать стал – заберем домой, скорее прилепится к жизни».

Мать пристально посмотрела на Шурку:

– Будешь его отцом звать?

– Буду.

Он уже ждал, как об этом она ему скажет. Вышло не обидно. Это Шурке очень понравилось, ему стало как-то радостно за мать: она все чувствует, понимает, только не всегда все говорит вслух, он это давно заметил. Также заметил, что в отличие от многих, и особенно от его бабушки, она старается даже из грустного сделать веселое. Вот, например, если бы его бабушка и мама в отдельных комнатах рассказывали один и тот же случай, то в той, где бабушка, люди загрустили бы и задумались, а там, где мама, – обязательно засмеялись. Такая особенность у Шуркиной мамы.

– Мам, ты мне когда-нибудь расскажешь, как так получилось?

– Что, сынок?

– Что мы с ним неродные?

– Расскажу, Шура, только немного тудылича, попозже, ладно?

– Ладно, – опять соглашается Шурка.

«Странно, – думал он. – Мы с ним неродные, а на фотографиях мы даже похожи, так разве бывает?»

...Привезли отца поздно ночью.

– Хорошо Степка Синегубый, его дружок, встретился под Крепостью, а то уже чуть не плутать начали, пурга такая, – говорила бабушка, помогая деду Ване ввести отца в избу.

С отца сняли в сенях тулуп, при свете коптишки перед Шуркой стоял невысокий человек, которого до этого Шурка помнил только лежащим в больничной кровати во всем казенном. Сейчас он был одет в бекешу. Костыли под мышками делали похожим его на большую раненую птицу. Левую ногу он волочил.

– Принимай гостечка, хозяйка, – задорно сказал отец.

Мать широко раскрыла дверь, чтоб не мешать костылям, и он, поддерживаемый дедом, вошел в дом.

– Ну вот, а говорили: нас волки съедят! Подавятся, верно, Шурка?

Шурке стало радостно от такого вопроса, от морозного запаха, от того, что все вместе. Он помогал матери снимать с отца бекешу, а отец, проведя пятерней по Шуркиной голове, добавил:

– Ну, с такими помощниками нас просто не возьмешь.

Шурка опять порадовался тому, как отец просто и ясно все говорит и делает. Под бекешей у отца оказались гимнастерка и галифе. Гимнастерка задралась на поясе, и Шурка увидел глянцевую упругую кожу корсета. «Ему еще не сняли корсет, – отметил он себе, – а как же...»

Когда укладывали отца на кровать, чтобы поменять бинты, Шурка увидел гипс на левой ноге, выше коленки до ступни. Пока мать с бабушкой меняли бинты, Шурка с дедушкой отошли, и он спросил:

– Деда, а как же его такого отпустили?

– Василий настоял: выписывайте. И ни в какую. Железный человек, одно слово. Да и бабка Груня твоя чего стоит!

Пожар в школе

Спалось Шурке плохо. Снились какие-то люди в тулупах, лошади.

Под утро случился большой переполох. Часто захлопали калиткой, дверь в задней избе. Шурка, продирая заспанные глаза, встал и пошел на бабкин голос на кухне. Пол был холодный, и он старался наступать одними пятками.

– Шурка, почему чулки не надел, иди скорее назад или коты вон возьми.

– А что случилось, баб?

– Школа горит, мужики помчались тушить.

Бабка уже растапливала печку. На шестке лежали сухие полешки, а на полу несколько котяков. В глубине печи горел маленький, как игрушечный, костерок. Пахло морозом, который прорывался временами через дверь, керосином и котяками.

Баба Груня взяла увесистую полешку, покапала на нее из бутылки керосином и ловко швырнула в затухающий костерок – печка обрадованно враз засветилась, загудела одобрительно.

– Кому сказала, что стоишь? Иди досыпай!

– Значит, в школу сегодня не идти! – обрадовано выскочило у Шурки, и он сам удивился этому.

Бабка Груня выпрямилась, взглянула в упор своими черными большущими глазами:

– Разве так можно? Это ж беда какая! А? – И укоризненно покачала головой.

Ему стало стыдно, и уже не на пятках, а быстро шлепая всеми ступнями, он засеменил в свой укромный уголок.

...Утром при входе на школьный двор Шурка ужаснулся: левого крыла деревянной школы, где находился его класс и мастерская по труду, не было. Была куча хлама, гора каких-то неузнаваемых предметов и горелый запах на весь двор, от которого щекотало в ноздрях.

Учитель по труду Николай Кузьмич строгим голосом, по-военному, отдавал команды старшекласникам, которые толпились кто с вилами, кто с лопатой на пепелище.

Все было и свое, и какое-то чужое, как в каком-то кино или во сне.

«Хорошо, что только одна бабка знает, как я обрадовался пожару со сна». Шурка не мог представить, что стало бы, если б все узнали.

...Подошла умная красивая физичка Мария Ильинична и сказала спокойно:

– Ничего, Саша, осилим.

– А где же будем учиться?

– Пока в нашей библиотеке, а с лета директор в Борск хочет ехать с десятиклассниками готовить сосновые бревна. Будем ставить новый сруб. Всем работы хватит. Вашему классу тоже.

– Да, – торопливо согласился Шурка.

Он словно боялся дальнейшего разговора. И, как бы оправдываясь, сказал то, что составляло только часть правды, но было все-таки правдой:

– Ведь там была моя парта, которую мы с Николаем Кузьмичом отремонтировали, и я ее сам красил в этом году. Жалко как!

Новая Шуркина жизнь

С приездом отца жизнь в доме Любаевых потекла по-иному. Ничего, казалось, не ускользало от глаз отца. Как он все быстро замечал и успевал! Дня через три после приезда утром спросил Шурку:

- У нас во дворе есть глина?
- Не знаю, пап, – растерялся Шурка.
- Вот те раз, голова, кто же знает?
- Есть, Василий, за нужником, летось привозили, теперь под снегом, – вмешалась мать.
- Надо наковырять в тазик и навозу из мазанки принести.
- Хорошо, Вася, – мать догадалась, для чего. – Наверно, тряпки какие нужны?
- Нужны.

После завтрака Шурка раскопал снег, ломом наковырял и принес два ведра мерзлой глины. Мать залила ее горячей водой, и пока глина отходила, отец, не дожидаясь, начал забивать тряпками трещину в стене у печки, через которую дул морозный ветер. Он делал все стоя, садиться или наклоняться ему было нельзя, поэтому тряпки Шурка положил на приступок у печи, откуда их отец и брал. Руками он работал очень ловко. Но каждый раз, когда отец выпускал оба костыля из рук и стоял на одной ноге, прислонившись плечом к стене, Шурка боялся, что он упадет. Так и случилось. Отец опрокинулся на рукомойник, висевший в углу, и вместе с ним с грохотом повалился на пол.

– Боже мой, Василий!

Катерина бросилась к мужу. Он тяжело, опираясь на костыли, встал. Мать с Шуркой отвели его и уложили на кровать. Ложился он медленно, осторожно устраивал негнувшуюся в корсете спину.

Мать подняла левую ногу отца и, как чужую, не его, положила рядом с правой.

– Ну вот, отдыхай, мы с Шуркой доделаем.

– Да вот и беда, что вы, а не я, – досадовал отец.

... Через две недели гипс сняли, а еще через месяц Шуркин отец освободился и от корсета. Пугающе красивый из толстой темно-коричневой кожи, схваченный вдоль и поперек светлыми металлическими полосками, лежал он в сених без надобности.

– Кать, убери его к чертям подальше, – сказал Василий. – За целый год он мне опротивел.

– Уберу, – с готовностью и радостно сказала мать. – Сейчас, Васенька, поедим, и я выкину его.

После завтрака отец взялся ремонтировать костыли. Он снял резиновые наконечники и в каждый костыль для верной опоры вбил по толстому гвоздю без шляпки.

– Так надежней, мне ведь не прогулки совершать с костылями, работать надо, значит держава, крепость нужна особенная, – пояснил он.

Теперь, когда он встал и пошел по комнате, от гвоздей оставались отметины в полу.

... А вечером приехал старый друг детства отца, Степка Сонюшкин.

«Синегубый» – так его звали оттого, что все лицо и губы у него от контузии на фронте были в синих точках. Он привез две седелки, уздечки и просил за недельку подремонтировать, обещая ставить за это трудовни.

– Знаю я твои трудовни, Степан, еще до войны. Ты мне лошадь, когда надо, дашь?

– Дам, конечно, дам, – говорил Степан, глядя невидящими от ожогов глазами, тускло и покорно. – А ты сделай, у меня еще хомутишко один есть потрепанный, возьмешь?

– А потник-то есть?

– А как же! – с готовностью ответил дядька Степан. – Есть, неважнецкий, правда, но есть.

Когда ушел Синегубый, отец сказал:

– Шурка, а знаешь, я ведь ловко так валенки до войны подшивал. Если взяться за это дело, не пропадем, точно говорю.

Мать радостно слушала эти разговоры и украдкой вздыхала.

Художественный руководитель

Сегодня перед уроком истории классная руководительница Лидия Петровна объявила: – Александр Ковальский, я тебя освобождаю по просьбе Валентины Яковлевны от уроков, ты ей нужен в постановке.

Шурка встал и под завистливые взгляды одноклассников вышел.

Ничего не поделаешь, Шурка – артист.

По дороге в клуб он вспомнил, как впервые Валентина Яковлевна появилась в школе два года назад.

...В тот день вначале ему не везло. На перемене у туалетов к нему привязался Толик Юнгов, и они подрались. Так, не зло. Как бы проверяя друг друга, обменялись тумаками. Но Шурка поскользнулся и припал на одно колено, прямо в грязную лужу. Зазвенел звонок, и Толик убежал, а он остался очищать грязную штанину. Когда вошел в класс, хмурый учитель географии Норкин Василий Иванович уставил в него не мигая свои карие, под навесом черных больших бровей глаза:

– Опять дрался? Оттого и опоздал?

– Нет, – ответил Шурка, свято веря, что они с Юнговым и не дрались. Так себе... И опоздал он не из-за драки, просто случайность – поскользнулся и попал в лужу.

– Лгать нельзя, – обидно, как маленькому, сказал учитель географии, – я все видел в окно. В наказание будешь стоять, пока не скажешь правду.

– Где? – с горечью выскочило у Шурки. «Неужели меня поставят в угол?» – подумал он.

– А где вот находишься сейчас, там и стой.

«Если видел все в окно, то что ему от меня надо? Ведь он должен понять, что все случилось случайно».

Шурка остался у двери. Незаметно продвигаясь, он оказался у подоконника. Стал смотреть на улицу. Правая рука, вернее, указательный ее палец ковырял потихоньку известку в оконном проеме.

Было обидно и неинтересно. Из окна сквозило, и Шурка два раза шмыгнул носом.

– Ты что, герой, плачешь? Так знай, коммунисты не плачут!

В классе хихикнули.

– Не смей! – грозно выкрикнул Норкин. – Не смей смеяться.

«Если я что-нибудь скажу сейчас такого, то все рассмеются и нас потащат в учительскую, надо молчать», – подумал Шурка и повернулся к стене лицом.

Разрядило ситуацию удивительное событие. Открылась дверь за спиной Шурки, и в класс вошли Лидия Петровна и с ней незнакомая женщина. Классная руководительница извинилась перед Норкиным и представила классу незнакомку:

– Ребята, сегодня у нас в гостях Валентина Яковлевна Плотникова – художественный руководитель районного Дома культуры. Пожалуйста, мы вас просим, – она как конферансье развела руками.

Шурка смотрел с удивлением на гостью. Он ее узнал, он видел ее несколько раз, но так близко – никогда. У доски стояла осанистая, крепкая женщина в светлом костюме, ярко-красной кофте с большим отложным воротником.

Шурке эта необычная женщина давно запомнилась, хотя она даже, наверно, и не знала о его существовании.

– Ребята, кто из вас хочет стать настоящим артистом, а? – с ходу спросила она.

В классе воцарилась гробовая тишина. Всех, очевидно, сразила внешность этой женщины. Тряхнув крупной головой с короткими черными кудрявыми волосами, она сказала совсем непривычное в устах взрослых в этом классе:

– Слабо? Да?

– А что нужно уметь? – спросила находчивая Ниночка Иванова.

– Желательно все, – опять энергично ответила гостя. – Но для начала надо просто записаться и в пятницу после занятий прийти для просмотра. Мне нужны артисты в драмколлектив, танцоры в ансамбль, хористы. Наш хор – народный. Мы уже записались на пластинку в Москве, приходите слушать.

Она пристально посмотрела на притихших ребят.

– Талант рождается в детстве, а может, конечно, и раньше, понятно?

Она свободно и заразительно засмеялась. Так в школе никто не смеялся.

– А я, как бабка-повитуха, помогу, как могу, если будете слушаться. Не теряйте момента!

– Вот у нас готовый артист есть, Валентина Яковлевна, – вдруг сказал учитель Норкин, присевший на первом ряду за парту, и показал жирным коротким пальцем на Шурку.

– А ты чего стоишь в углу? – удивилась Плотникова.

– У стенки, – поправил Шурка. Он берег свою независимость.

– Петь любишь?

– Не знаю. Не очень.

– А что любишь?

– Кино!

Все засмеялись.

– Приходи, попробуем в постановках. На роль Ваньки Жукова тебя попробую. Как твоя фамилия?

– Ковальский.

– А имя?

– Александр.

– Александр Ковальский! – воскликнула она, подняв левую руку над головой. – Неплохо звучит для сцены.

...Шурка пришел в ту пятницу в клуб и с тех пор уже не представлял себя без завораживающего общения с этой удивительной женщиной, без того волнения, которое он теперь всегда испытывал входя в клуб.

«Придет времечко-то...»

Я смотрю на тебя, Шурка, и думаю: какое же это перемещение народов всяких должно было быть, вторая мировая война случиться, чтобы твой отец – песчинка в море – оказался здесь, в Утевке, и встретился с твоей матерью. И чтобы ты родился. Чудеса да и только. Как будто кому-то это надо?

Бабушка Груня сидит перед открытым полупустым сундуком, крышка которого изнутри оклеена кусками картины И.Репина «Бурлаки на Волге». Третий слева в толпе бурлак, высокий и в шляпе, очень похож на Большака, который приходит часто к Лобачевым в гости. Только у Большака нет трубки.

Шурка, продолжая разглядывать картину, просит:

– Баб, расскажи что-нибудь еще об отце.

– О каком, Василии?

– Нет, – глуховато отзывается Шурка.

Бабушка вынимает наконец-то нужный ей клубок пряжи и, не поднимая головы, не торопясь отвечает:

– Мать пусть расскажет.

Шуркина мать сидит с пряжей у окна, там посветлее. Сучит пряжу, принесенную бабушкой.

– Что тебе рассказать?

Она ловко поправляет веретено, струны вытягиваются, прялка оживает.

– Я вот расскажу тебе, чтобы ты наперед знал, больше тебе никто не скажет, окромя меня. Когда отец твой Станислав пропал, перестал писать, я взяла тебя, совсем еще крошечного, и пошла погадать в Смоляновку к одному старичку.

– Он колдун был? – Шурка сомневается, что мать верит в колдовство.

– Колдун не колдун, а людям много кой-чего угадывал. Забыла звать как его, эвакуированный. Он появился одновременно как летная школа у нас стала в селе. Издалека откуда-то.

– У нас летная школа? – Шурка удивлен.

– Да, в ней учили летать молодых ребят, ее тоже откуда-то эвакуировали, где бои были. Некоторые при учебе-то и погибли, лежат у нас на кладбище.

– А нам в школе не говорили... – Шурка озадачен.

– Мало ли чего вам не говорят!

– Ладно, мам, а что дальше?

– А что дальше? Заходим в избенку. Ты у меня на руках. На кровати сидит весь белый, как лунь, старик, слепой, в руках бобы. Так перебирает их без остановки и говорит с ходу: «Гадать пришла?» – «Да, – говорю, – погадать про его вот отца, пропал, писем нет». – «А ведь ты, дочка, не на того собираешься гадать». – «Как так, – говорю, – не на того?» Помолчал он, помолчал, руками поиграл в бобы и продолжил: «Придет, вернется к тебе твой первый муж, которого не ждешь. Жив он, но далеко». «Василий? – ахнула я. – Как же так от него ведь четыре года с фронта не было писем. Я вышла за другого – поляка». – «Не было, а вот придет. И родишь от него много детей. Жить будете долго вместе и согласно. Судьбе не противься». – «А как же его отец?» – спрашиваю я про тебя, Шурка. «И второй твой муж вернется, но только когда тебе это будет не надо, в старости. Придет времечко-то, да».

Шурка стоит у голландки, прислонившись к горячему железу, ощущая жгучий рубец у себя на спине и чуть не плачет. Хочется расспросить подробности, но боится не справится с голосом. Наконец решается:

– Мам, а первый сын от Василия, что с ним случилось?

– Умер, – односложно ответила мать. – Грудного мы его еще не уберегли, простудили. Он был Шурка, и тебя я потом назвала Шуркой – ты брат ему.

– А дальше что?

– А что дальше? – переспросила бабушка. И сама же ответила: – Пришел в сорок шестом Василий весь израненный, был в плену долго. Заходит в калитку, а ему уже кто-то сказал, пока он шел дорогой, что твоя мать от другого родила, а его-то сына нет в живых. Остановился в калитке-то, когда Катерина с тобой на руках вышла и встала на крыльце. Метнулась я на зады со двора, чтобы не видеть всего этого. Хорошо, что и деда не было. А вернулась когда, они сидят за столом и потихоньку так разговаривают, и ты при них. Она Василия-то молоком поит.

– Ни в какую я не хотела сызнова все, сначала. Но он упрямый всегда был, сладу нет. Все вещи заставил собрать и повел меня за руку к себе домой, к свекрови, где мы до войны жили. – Мать Шурки, остановив рукой колесо прялки, стала смотреть в окно.

Шурка заметил на глазах у нее слезы.

– Все сошлось, что говорил слепой старик, теперь вот чувствует мое сердце: и отец твой Станислав может вернуться когда-нибудь. Придет времечко-то... так он ведь сказал, старик-то. – Бабка посмотрела своими огромными черными глазами на притихшую Катерину и совсем спокойно добавила: – А ты не хлюпай носом. Живи покуда солнышко светит. – И продолжила: – В последнем письме твой польский отец просил прислать фотокарточку новорожденного. Очень хотел, чтобы ты был на ней голеньким, чтобы всего было видно. Катерина так и сделала. Письмо он получил перед освобождением своего родного города Варшавы. Сообщал, что бои идут страшные и его двое товарищей, которые с ним вместе прибыли из России, погибли. Писал, что когда получил фотографию, несколько раз останавливался на дороге и смотрел на тебя, не мог поверить, привыкнуть, что он – отец. «Где мой сын – там и моя родина», – так заканчивалось его последнее письмо. Верил он, что вернется к тебе, поэтому мы фамилию не стали тебе менять, хотя Василий несколько раз об этом заговаривал.

Осечка

У Мазилина, который живет около чайной на Центральной улице, есть страсть, о которой все знают и которая дала ему его вторую, уличную, фамилию. Он любит ружья и охоту, а вернее, любит быть, присутствовать там, где охота и где пахнет паленым пыжом. Стрелять он не умеет, но врет о своей меткости отменно. Сегодня охотники на задах стреляли в калитку огорода: пробовали одностволку Веньки Сухова. Мазилин так «раздухарился», что заявил будто на лету сбил сразу трех витютней.

– Они ж стаями и не летают, – сказал веско Венька. – Уймись.

– Что уймись, что уймись, я настоящую правду говорю, их ветром в стаю сбило над жнивьем в Ревунах.

– Ага, – продолжал Веня, – иду я полем – ни одного деревца и вдруг волки. Я – раз, не мешкая на огромный дуб, да?

Это Веня вспомнил кусочек рассказа Мазилина о его подвигах.

Эту историю все уже знают, поэтому и засмеялись.

– Ты зря, Веня, надсмехаешься, я натренировался на той неделе с ружьем-то, могу аккурат пальнуть как надо!

– Можешь? – переспросил Веня и озорно посмотрел на всех.

– Могу, – подтвердил Саня. И для надежности добавил: – Я это, Веня, гагарок влет бил, когда у брата на Севере был, а летось в Одеэле дудака завалил.

– Говоришь, гагарок стрелял, а на лемуров в тропиках не охотился? – поинтересовался Веня.

– Чегой-то? – переспросил Мазилин.

– Давай так, – весело сказал Сухов, – на тебе мое ружье. На, на!

Мазилин неуверенно взял одностволку.

Веня окинул взглядом ровную заснеженную порошей дорогу вдоль ограды и начал отмеривать своими крупными шагами расстояние. Единственная его правая рука четко работала под строевой шаг.

– Вот, ровно тридцать метров. Так?

– Ты что задумал, Веня? – спросил Шуркин дед.

– Так, Саня? – вновь спросил Сухов.

– Ну так, так, – беспокойно ответил Мазилин.

– Слушай условия дуэли. Стреляешь мне в задницу. Если хотя бы одной дробиной попадешь – ружье твое!

– А если не? – крикнул подошедший Степка Синегубый. И его испещренное мелкими темно-синими точками лицо, освещенное обычно тусклым светом потерявших остроту после контузии глаз, неожиданно преобразилось, и он вдруг оказался таким же веселым, как Венька. Это удивило Шурку. Таким он его никогда не видел.

– А если не попадет, тогда посмотрим, что с ним делать.

Венька, широко и плавно разводя руками, театрально изобразил реверанс, повернулся спиной к толпе и, задрав фуфайку, наклонился, почти доставая рукой снег:

– Давай, Лександр! Не бойсь! Пали!

«Может, ружье не заряжено», – почему-то обрадованно подумал Шурка, глядя на крепкие Венькины галифе.

– Венька, убери казенную часть, не дури, – сказал, похохатывая, дед Шурки.

– А если я попаду? – подал голос сам Мазилин. – Глазунья ведь получится, а? Аховый ты мужик, Веня!

– Да не тяни, там бекасинник в патроне, я устал буквой «Г» стоять. Ты знаешь, где курок?

Шурка смотрел на Мазилина и лихорадочно искал выход из казавшейся ему тупиковой ситуации. «Венька, ясно, не струсит, будет ждать выстрела, а Мазилин в тупике – ему надо стрелять, на него все смотрят и ждут. А вдруг сдуру да попадет?»

Но уже в следующий момент он заметил, что неуверенные движения Мазилина обретаю какую-то твердость. Тот перебросил одностволку с правой руки на левую, как какой-то краснокожий индеец взметнул ее над головой и издал не очень громкий, но дикий и непонятный воинственный клич:

– И-и-и-ха-ха-у-у!

Все оторопели. Никто такой выходки не ждал. В следующий миг лицо и вся фигура Мазилина приобрели такое уверенное спокойствие и деловитость, что вновь всех изумило.

Он потоптался на месте, делая себе площадку в снегу, и затем медленно стал поднимать ружье. Теперь уже он не обращал никакого внимания на присутствующих. Видно было, что он действовал осознанно и по плану.

Мазилин начал основательно целиться. Но враз опустил ружье:

– Венька, постой еще чуток, я передохну. Знаешь, руки дрожат после вчерашнего: солому возили, ну и немножко того, для сугреву, теперь вот вместо опохмелки ты попался.

– Эх ты, колбаса! – совсем как пацан обозвал Синегубый Мазилина.

– Трусишь?

Но Мазилина голыми руками не возьмешь. Он быстро отозвался:

– Коли б колбасе приставить крылья, лучшей бы птицы не было.

Шурка потихоньку начал понимать, что хозяином положения становится Мазилин, а не Венька. «Неужели Мазилин опять всех перехитрил?

– думал Шурка, глядя грустно на Сухова. – Так уж не раз бывало, ведь он известный пройдоха».

У соседки Пупчихи закричала коза, чуть погодя у самого плетня под навесом смешно начал кашлять баран.

– Вот ведь чертова скотина... правда, Вень? Я ее терпеть не могу, потому и не держу. А ты, Вень?

– Стрельнешь или нет? – подталкивал удивительно настойчиво Сухов.

– Стрельну, конечно, стрельну, погоду чуток-то.

Мазилин поднял ружье и с каким-то чуть ли не радостным лицом, почти не целясь, нажал курок. Прозвучал сухой щелчок, выстрела не последовало.

– Осечка, – сказал бодро Мазилин. – Не судьба, значитца!

– Чего городишь, дай мне. – Венька принял ружье и ловко пальцами одной руки, скользнув по цевью и ложе, переломил одностволку. Лицо его вытянулось в изумлении:

– Ну ты даешь, ловкач! – Он внимательно посмотрел на стрелявшего.

– Ловкость рук и никакого мошенства.

Сухов как-то одобрительно, что было совсем непонятно Шурке, хмыкнул и, шутя, боднул Мазилина головой. Тот громко хохотнул и объявил:

– Господа хорошие, спектакля сегодня больше не будет.

Потихоньку все разошлись.

Шурка вынул перочинный ножичек с двумя лезвиями и начал выковыривать дробь из деревянной калитки. Некоторые дробины засели глубоко, старые трухлявые доски внутри оказались крепкими, а дробь, расплющившись, трудно поддавалась тонкому лезвию, мерзли руки, хотя и было солнечно. Снег искрился, как будто тысячи серебряных мелких дробинok кто-то рассыпал по чьей-то непонятной прихоти.

– Зачем тебе это? – спросил Сухов.

– Да на грузило к удочкам, на лето.

– Приходи, я тебе дам свинца, я раздобыл недавно.

– Ладно, приду.

Веня Сухов, ловкий, стройный и добрый, уже уходил, и Шурка поинтересовался:

– Веня, а как Мазилин придумал фокус с осечкой?

– Да не было осечки, – ответил тот, – пока он нас потешал, успел потихоньку патрон из ствола вытряхнуть и валенком в снег втоптать. Находчивый черт!

– Эх, вот это да! – только и сказал Шурка.

На душе было празднично. Стояла еще только первая половина зимнего солнечного дня. Почти целый день впереди. Рядом были дед, бабушка, все свои. Веня... Такие все разные. И даже пройдошистый Мазилин воспринимался как что-то чудное, но такое, без чего вроде бы и жизнь не совсем такая, какая она может быть.

Рождество

В сенях зашумели, затопали чьи-то торопливые валенки, дверь распахнулась, и в избу ввалились трое ребят: Толик Бесперстов, Димка Таганин и Мусай Резяпов.

Едва переступив порог, еще не закрыв как следует заиндевевшую дверь, нестройно, но громко и главное решительно, запели молитву:

*Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия миру свет разума в нем
бо звездам служащий, звездою
учахуся Тебе кланяться Солнцу
Правды, и Тебя вести с высоты
востока, Господи, слава Тебе!*

Молитву Шурка знал давно, много раз он славил, когда был поменьше. И теперь, лежа в кровати, ревностно и радостно слушал пение.

Слова молитвы были немножко непонятны, но жила в них, исходила от них какая-то неизъяснимая благодать, неясные созвучия были знакомы, на слуху, и поэтому, может быть, несли в душу неосознанную до конца радость и веру в жизнь.

Так наступило утро седьмого января, праздника Рождества Христова.

Когда ребята смолкли, братишка Шурки Петя вскочил на кровати, переступил, балансируя, через Шурку и в трусах, босиком пошлепал к порогу, издавая какие-то невнятные звуки.

Мать Шурки раздавала припасенные заранее конфеты-подушечки:

– Слава Богу! Слава Богу!

Когда славильщики ушли, Петя, стоя на одной ноге, поджав другую, очевидно, от холода, заскочившего через только что с шумом закрывшуюся дверь, закричал горестно:

– Опять ты, мамка, опоздала меня разбудить. Уже ходят! Бесперстов меня обогнал.

– Не торопись ты, темень еще на дворе, они самые первые. Посмотри в окно, – отвечала мать.

Шурка встал, споткнувшись о тыкву, выкатившуюся из-под кровати, подошел к окну. Отодвинул занавеску. Палисадник, широкая улица – все было завалено сугробами, ночью шел сильный снег. Несколько стаяк ребят, по двое, по трое пробивались, увязая по колени в снегу, к подворьям.

– Зачем тебе, Петь, в такую рань-то?

– Дак я должен был еще зайти к Перовым, за Ванькой!

– Петь, да ты в своем уме? – всплеснула руками мать. – Он ведь на самом краю села живет, пусть он за тобой забегает. Хватит колдыбашить-то.

– Нет, – упрямится Петя, – он чуть не каждый день за мной заходит, когда в школу идет.

– Но ему же по пути, он в школу в центр идет.

– Я ему обещал вчера, честное слово дал, – говорит Петька, натягивая на босу ногу валенок. – Мы решили в этом году славить в Золотом конце, – приводит он свой последний и веский довод.

– Петро, не выкобенивайся, – как взрослому говорит вошедший со двора отец, – надень носки, без них не пойдешь.

Петька послушно идет искать пропавшие носки. Приподняв подзорник, лезет под кровать.

– Мать, никак меж славильщиков и татарчонок Мусай был?

– Был, а что?

– Ну как что...

– Да ладно тебе, радостный праздник для всех же, а для ребятни тем более. А ты знаешь, какой у него голос? Красивый! Чудо!

Одевшись, Петька быстренько, пока про него забыли, прошмыгнул к двери и пропал в сенях.

– Ну а ты, Шурка, что же не с ними? – спрашивает отец.

– Большой стал, в шестом классе учится, стесняется, – ответила за него мать.

Она отставила ухват к двери, обернулась к ним. И Шурка поразился, какая у них мать совсем молодая и красивая! Черные, как смоль, волосы и карие глаза, смуглость лица и живость движений делали ее сгустком энергии и заразной веселости.

Он хотел было возразить маме, но не успел, она весело сказала:

– Знаете, как мы бывалыча девчонками с Надей Чураевой пели на Рождество красиво! Нас так все любили. А колядовали как! Наши колядки всем так нравились. Самый мой отрад-ный праздник был Рождество Христово. И все дни до самого Крещенья! Была бы помоложе, убежала бы с ними, с этими ребяташками, ей-богу!

Поединок

По Зубареву переулку в розвальнях на буланой кобылке промчался Мишка. Снежная пыль клубилась за возком. Мишка не умел ездить медленно.

«На общий двор погнал, – отметил про себя Шурка. – Ну хорошо, посмотрим, кто слаб!» Он нырнул в сельницу и вышел оттуда с уздечкой. «Будем биться на равных, по справедливости».

Мишку он встретил у стадиона, когда тот уже возвращался домой.

Странно, но противник не испугался и не удивился:

– Ждешь? – спросил он и встал метрах в двух от Шурки, застегивая на все пуговицы свою старенькую бекешку.

– Жду, – подтвердил Шурка, подвигаясь к неприятелю.

– Я знал, что ты когда-нибудь меня подкараулишь, но я тренировался и...

– И я тоже, – перебил Шурка и так ловко стал крутить уздечкой круги над головой, перед собой, слева и справа от себя, что Мишка невольно попятился.

– Тебя кто-то учил из взрослых! – выкрикнул он, невольно озираясь: то ли готовился занять хорошее местечко на дороге, то ли оробев.

– Сам! Тебе сейчас придется попрыгать, а то пятки отшибу, понял? Не будешь больше кобениться.

– Да ладно тебе, отшибу... Сам получишь по сусалам. Вот послушай.

И он пропел жидким, ужасно мерзким голосом:

Шурка-пупурка. Турецкий барабан.

Как заиграет на пузе таракан!

Он ничего, оказывается не боялся, этот узкоплечий, веснушчатый и дерзкий Мишка Лашманкин.

– Стишки твои глупые, для первоклашек.

– А у тебя какие есть? – спросил Мишка.

Стихов у Шурки таких не было. И это его немножко озадачило. Он задумался. И потерял инициативу. А противник не дремал, он кочетом бросился на Шурку и, обхватив его со спины уздечкой, стянул ее впереди, захлестнув концы.

– Ах, ты так?.. – запоздало спохватился Шурка и резко метнулся в левый бок, быстро сообразив, что в падении он может освободить из плена руки. Так оно и оказалось. Противник не ожидал при всей своей коварности такого маневра, и они повалились оба на дорогу. Изловчившись, нырком выскочил Шурка из-под неприятеля и оказался вмиг верхом на нем. Мишка извивался под седоком, а тот, не помня себя, схватил горсть грязного дорожного снега и стал размазывать его по потному лицу противника.

– Ах, ты так, так, ты так... – взвился Мишка.

Но Шурка его не слышал. Он уже ничего не помнил...

И вдруг прозвучал властный голос:

– Отставить! По стойке смирно становись!

У обочины, опершись на костыль, в желтой фуфайке стоял Шуркин отец. Две пары рук ослабли вмиг под военной командой, и противники поднялись.

И тут последовала новая команда, которая вновь заставила их подчиниться:

– Разойдись! По разным сторонам дороги! По домам шагом марш!

Дома, весело глядя на Шурку, отец сказал:

– Ты молодец, такого крепкого парня свалил. Это хорошо. Но кто же лежачего бьет? Это несправедливо. Так нельзя.

– Да я, – хотел объяснить Шурка, что они разом повалились. Но отец опередил с вопросом:

– А грязью зачем ты ему лицо мазал?

– Я не помнил, что делал, совсем не помнил...

– Ну, брат, – отец покачал головой. – Драться надо уметь так, чтобы не терять над собой власть. Иначе до беды недалеко. И еще надо знать за что дерешься. Он внимательно посмотрел на Шурку:

– Причина для драки была серьезная?

– Была, – потупившись, ответил Шурка.

– Ну раз была, то все нормально. Веселей гляди. Бери ведра, пошли скотину поить.

Через несколько минут ведра весело загремели в руках Шурки. А чуть позже призывно на калде замычала Жданка.

Полонез Огинского

Шурка давно уже знал, что дядя Гриша Кочетков в войну работал в утевской сапожной мастерской с его польским отцом.

На прошлой неделе он как взрослый подошел к Кочетку прямо на улице, когда тот проходил мимо их двора, спросил:

– Дядя Гриша, расскажи мне что-нибудь про моего польского отца.

Тот не удивился просьбе, как будто они давно об этом уже говорили.

– Приходи завтра днем, я буду дома.

...Едва Шурка щелкнул щеколдой, забрехала собака. Но тут же вышел хозяин. Подойдя ближе, положил легонько руку на плечо Шурки, и они как старые знакомые пошли в дом.

Оставив Шурку, хозяин скрылся в сених, откуда скоро вышел, держа в руках мандолину и потрепанную ученическую тетрадь.

– Дядя Гриша, у вас фотографии отца есть?

– Да нет, видишь ли, одна групповая была, да жалко запропастилась куда-то давно.

Шурка понурил голову.

– Ну да ладно, не грусти. В Куйбышеве друг живет, он на той фотокарточке стоял около твоего отца, может, у него сохранилась...

Полистав тетрадку, нашел нужную страницу, помятую и исписанную карандашом.

– Вот:

Когда пролетных птиц несутся вереницы
От зимних бурь и выюг и стонут в вышине,
Не осуждай их, друг! Весной вернутся птицы
Знакомым им путем к желанной стороне.
Но, слыша голос их печальный, вспомни друга!
Едва надежда вновь блеснет моей судьбе,
На крыльях радости помчусь я быстро с юга
Опять на север – вновь к тебе!

– Это знаешь, кто написал? – спросил Кочеток.

– Нет, может, Пушкин?

– Пушкин, только польский – Адам Мицкевич, вот! Один раз, в войну, у твоей матери был день рождения. Ну мы собрались... Даже пиво было.

Отец твой прочитал это стихотворение по-польски, пересказал по-русски. Назвал автора – Адам Мицкевич. Мы признались, что не знаем такого. Он тогда очень расстроился и даже, кажется, обиделся на нас. Говорил он по-русски плохо, а тут совсем смутился, когда объяснял нам, что у них Мицкевич как у нас Пушкин. Его каждый поляк знает. Мицкевич и Пушкин, видишь ли, навроде друзей были меж собой. Я это стихотворение о перелетных птицах запомнил хорошо. Потом дочь моя, учительница в Куйбышеве, нашла книжку Мицкевича, переписала и прислала в письме.

– Дядя Гриша, мой отец – шляхтич?

– Кто тебе такую глупость сказал?

– Да меня дураки наши в школе контрой зовут, когда разозлить хотят.

– Послушай, он отличные женские туфли шил и меня научил. Может контра сапоги да башмаки шить, а? Он красивый, послушай, был. Невысокого роста, смуглый, кудрявый, а глаза голубые. Ходил в толстовке коричневого цвета. У тебя вот глаза зеленые, у матери твоей карие. Ты, значит, посерединке у них. Шляхтич, не шляхтич, но немецкий и французский языки

знал, это верно. Уважительный, вежливый был, но за свое стоял. Когда я ему сказал, что вот освободят Польшу от немцев, организуют у них колхозы и Польша будет страна как наша, он стал мне говорить, что в Польше никогда колхозов не будет. Колхозы им не нужны. Так я его и не убедил. А с матерью твоей я его познакомил у Чураевых на вечерках. Не сразу они сошлись. Хотя и четыре года твоя мать не получала писем от первого мужа, а все равно – жена законная. Мы все были уверены, что Василия нет в живых. А тут еще Минька Леток раненый вернулся, сказал, что видел Василия Федоровича вроде бы на Карельском фронте, на Финской еще, попавшим под такой обстрел, что все погибли. Такая вот история с Любаевым получилась. Как тут разобраться?

Взял мандолину, как маленького ребенка, погладил ладонью, вытряхнул из отверстия посередине большой зуб от сломанной расчески и тронул струны.

Полилась удивительно красивая, грустная, незнакомая мелодия.

Мандолина – это маленькое существо, даже не гитара, незаметное и невнушительное, хранила в себе и издавала такие звуки, которые могли существовать только где-то на просторе, в поле, между небом и землей, как песня жаворонка под открытым небом, в вышине, в огромном свободном пространстве, вечном и манящем...

Дядя Гриша кончил играть, Шурка не сразу пришел в себя.

– Подарок тебе – любимая музыка твоего отца, полонез Огинского.

Он любил его напевать, ну я и подобрал на мандолине. Ему очень нравилось, часто просил сыграть. Он говорил, что эта музыка бессмертная, на все века. Бери мандолину, она твоя.

– Как так? – опешил Шурка.

– Я ее подарил твоему отцу – Стасу, но когда его срочно забирали на фронт, он забыл ее взять впопыхах. Она у нас потом долго в сапожной мастерской висела – на память.

– А где была ваша сапожная мастерская?

– Да в промкомбинате, который напротив школы. Во время войны, в начале, его собрали из чернолесья. Потом твой дед с бригадой работал в Борске, заготавливали сосновые бревна. Я тоже с ними был, плотами пригнали в Утевку, сделали пристрой. Дед твой овчины готовил, полушубки шили для фронта из них.

– Плотами в Утевку по Самарке?! – удивился Шурка.

– Ну да! По Самарке баржи до Куйбышева ходили.

Шурка погладил осторожно, как живое существо, мандолину и вернул Григорию.

– Нет, спасибо. Можно, она будет у вас, а я буду приходить, слушать, как вы играете?

– Смотрю я вот на тебя и удивляюсь – ты так похож на отца, может, не внешне, а характером больше. Он тоже, когда возражал, говорил очень мягко, как бы просил, совестливый был очень.

– А кто такой Огинский? Шляхтич?

– Дался тебе этот шляхтич. Композитор, поляк. Мне о нем Стас много рассказывал, он всего много знал и любил рассказывать. Но я все уже перезабыл. По-моему, граф был, а звали Михаилом или Николаем. Такое русское имя... да вот.

– А в чем мой отец виноват был, дядя Гриш?

– Точно не знаю. Тут их несколько человек было по селам. Что-то они, по-моему, в Литве наделали, их и пригнали. Сельсоветские наши частенько спрашивали о нем. Не спускали глаз.

– А как забрали на фронт? – допытывался Шурка.

– Просто. Польскую часть формировали, и его призвали в Рязань, вроде бы в дивизию Костюшко.

– А русских он любил?

– Кто? – не понял дядька Гриша.

– Отец мой.

– О чем разговор! Мы были все приятелями. Песни наши любил. Послушай, мы с ним часто ее пели:

Среди долины ровныя
На гладкой высоте
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте.
Высокий дуб, развесистый
Один у всех в глазах;
Один, один, бедняжка,
Как рекрут на часах.

В избу вошла Наташа Лучезарная – жена Григория. Тут же под села рядышком и стала подпевать.

Не зря утевский народ такое прозвище ей дал. От нее веяло жаром, как от протопленной печки, какие-то теплые иголки выскакивали из ее веселых улыбчивых глаз и покалывали всех, кто был рядом. Грустная песня оставалась грустной, но все превратилось в некую забаву, и грусть стала как бы понарошку, временной.

Она обняла Григория за шею сзади одной рукой, наклонилась, кофточка белая на груди расстегнулась на две пуговички, и два бронзовых полновесных слитка заиграли перед лицом Шурки, в такт движения их шаловливой хозяйки то прячась, то выглядывая и целясь прямо в Шурку темными пухлыми сосками. Ему стало не по себе. Смутное, необычное волнение нашло на него.

А песня лилась в два голоса:

Взойдет ли красно солнышко —
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка —
Кто будет защищать?

Вдруг Лучезарная всплеснула легкими и ласковыми руками:

– Гришенька, песне-то этой конца нет, а у меня баня протопилась, голубок, давно.

– Наташа, ну обожди, допою парню еще один куплет. Когда еще так посидим?

Наташа ушла в сенцы, и дядя Гриша озорно подмигнул:

– Вишь моя полячка какая нетерпеливая!

– Разве ж она полячка? – откликнулся Шурка.

– Да нет, это я к слову. Похожа на полячку, верно?

Возьмите же все золото,
Все почести назад:
Мне родину, мне милую,
Мне милой дайте взгляд.

Он замолк.

– Вот такие дела. Тосковал он о своей прежней жизни. Это видно было. Не мог он здесь прижиться. Другой он был, не как мы.

– А как кто?

– Не знаю. В мастерскую сапожную приходил в светлой рубахе с галстуком. Так вот.

Григорий встал, отнес в сенцы мандолину. Оттуда выпорхнула Лучезарная с тазиком в руках и в полушалке:

– Гриш, ну ты и копуха, собирайся, а то я одна уйду.

Поляков из Покровки

Шурка, подперев подбородок левой рукой, сидит у деда в горнице за столом. Он рисует самолетики, фигуры разные на обратной стороне обрезков обоев. Скучно. Должен прийти Андрей, но его нет. Книжка «Одиссея капитана Блада» прочитана, больше ничего нет. Все взрослые на базаре, сегодня – воскресенье. Он рассеянно смотрит на стену перед собой, упирается взглядом в картину с цветами и непонятным названием «Пионы», и ему делается еще скучнее. Потом берет попавший под руку желтый карандаш и перед непонятным словом ставит большую, но не жирную (чтобы бабушка не заругала) букву «Ш». Вслух произносит «шпионы». Становится как-то понятнее, но какая связь между цветами и этим словом, он никак не улавливает, и опять ему становится скучно. Зачеркивает буквы «и» и «ы», получается: «шпон». Скучно. Зачеркивает букву «ш», восстанавливает «и» и вместо «ы» дописывает «ер», становится веселее: «пионер». Когда же убирает «п» и «ер» и дописывает «ыч», совсем хорошо: «Ионыч». Вернувшись к слову «шпон», убирает букву «ш» и в конце добавляет «т». Вот теперь, когда надпись под цветами становится свалкой букв, как у деда на верстаке, где завитушки золотистых сосновых стружек кудрявятся и шевелятся как живые, ему становится интересней.

Взгляд его падает на ружье, висящее (а скорее лежащее) под потолком на двух больших гвоздях. Оно не заряжено. Мысли сами собой почему-то начинают вращаться вокруг вопроса: «Если все говорят, что ружье и незаряженное один раз стреляет, то когда это случится?»

Завтра, через год, два, десять? Нет, интересно все-таки, ведь не зря говорят? Стрельнуть должно ружье».

В сенях послышалось, как кто-то обметает валенки веником от снега. Шурка радостно бросился встречать деда с бабкой. Но ошибся. В заднюю избу шагнул с мороза высокий дебелий человек и весело сказал:

– Здорово, брат!

– Здравсте, – неуверенно отозвался Шурка, а про себя подумал:

«Вот и брательник у меня объявился».

– Один, что ли?

– Один.

– Все на базаре?

– Нет, дядя Леша на охоту ушел.

– Эх, мать честная, я ведь к нему, охотничий билет продлить надо и заплатить.

Он, не спрашивая разрешения и не снимая валенки, прошел и по-хозяйски уверенно сел на табуретку около печки. Это Шурке не очень понравилось.

Гость пристально посмотрел на Шурку и спросил, глядя в упор своими диковатыми глазами из-под рыжих бровей:

– Ты Катькин сын, что ли, будешь, так?

– Ну, так.

– Полячок, значит, – то ли спросил, то ли ответил себе дебелий.

Шурка промолчал.

На это молчание гость отреагировал странно. Он хлопнул себя ладонями с растопыренными пальцами с обеих сторон по ляжкам и с каким-то, только ему понятным восторгом подтвердил: «Полячок!». Затем встал и направился к выходу. За ним потянулись следы от мокрых, оттаявших в избе валенок.

– Ждать некогда, да и не дожدهшься быстро с охоты. Ты вот что, скажи ему, был, мол, Поляков Михаил, на базар приезжал с Покровки, в следующее воскресенье утром снова будем – пусть подождет. Ладно? Без билета нельзя. И привет большой ему от Полякова, мы вместе служили.

– Ладно, – неопределенно отвечает Шурка.

Ему вдруг начинало казаться, что этот уверенный сильный человек смеялся над ним, дразнил. Специально придумал фамилию – Поляков. Он намекает, что отец Шурки и сам Шурка немножко не такие, а как бы с порчей какой.

– Что такой задумчивый, рона¹ большой, веселись, пока время твое!

Неожиданный знакомый хлопнул ладонью по косяку, резко открыл дверь и вышел.

«Вдруг он все-таки смеялся надо мной, фамилию назвал такую, как же я скажу, кто к нам приходил, – пытается разобраться Шурка. – Если говорить, то надо называть фамилию. Вдруг дядя смеяться будут? Ведь это похоже на розыгрыш. Или нет?»

¹ Рона – будто, словно

Пусть поплачет

- Ты что такой смурной сегодня? – встретила Шурку бабушка вопросом.
- Я видел сегодня: мама украдкой плакала.
- Не замай, пусть поплачет. Полегчает.
- Как же так? – Шурка недоуменно посмотрел на бабушку. – Надо что-то сделать!
- А вот иди ко мне за стол, посиди, а я расскажу. Тебе пора, видать, понимать.

Шурка сел в угол на лавку, как раз под иконой, напротив бабки, чтобы видеть огонек в печи и не мешать ей работать ухватом и сковородником.

Бабушка отставила в сторону ухват:

- Не серчай ни на кого из нас и не обижайся, ладно?

– Ладно, – сказал Шурка почти машинально, и ему стало не по себе. Получалось с этим его «ладно», что он здесь главное всех и может свысока позволить кому-то какую-то вольность. Он опустил глаза в стол.

– Третьего дня Кочеток, когда тебя не было, принес две фотографии твоего отца Станислава. Сказал, что в Зуевке нашел у знакомого – для тебя старался. Вроде бы тебе он обещал? Ну, мы с матерью, от греха подальше, вставили их в портрет у вас в передней, но только с обратной стороны, чтоб не видно было. А сегодня утром Василий случайно их увидел. Не стал слушать Катерину, порвал и выкинул. Он не знал, что Кочеток тебе их принес, думал, они там давно, она хранит ото всех. Мать в слезы, говорит ему: надо, чтобы ты в лицо отца знал, а он вскипел весь: «Раз мы договорились, что отцом ему буду я, значит точка. Не морочьте парню и мне голову». Он – кремень, и раньше был очень горячий и твердый, его не переубедишь. И по-своему он ведь прав, понимаешь, голова садовая?

Шурка молчал. Он всех любил. Василий, которого он звал отцом и хотел, чтобы он был его отцом, удивлял его своим характером. Поражали его поступки и манера говорить: коротко и односложно. Но зато какая сила и уверенность были во всем, что он делал, все воспринималось как маленькая часть чего-то огромного, правильного, настоящего, что только и имеет право на жизнь. Шурке иногда казалось, что его отец Василий связан, это порой ощущалось физически, с некоей огромной умной силой, с которой тот встретился и обручился то ли на войне, то ли в плену, то ли еще где. Но она его отметила, и теперь он с этой отметиной живет.

«Но при чем тут фотографии отца Станислава? – недоумевал Шурка.

– Ведь это же не измена, он просто хочет знать, что и как было. И все тут. Неужели отец Василий не понимает этого?» Досада угнетала Шурку еще и потому, что напрямую он об этом не мог ему сказать.

– Ну вот, совсем я тебя расстроила, – бабушка старалась быть веселой, – не горюнься. Ты еще не вырос, может, и не надо бы мне говорить тебе, но ты об этом думаешь. Тогда пойми: он порвал карточки только потому, что Катерину ревнует, вот и все. А к тебе он очень хорошо относится. Я знаю, Катерина отдала своей какой-то подруге сберечь последние письма Станислава из Варшавы – перед ее освобождением. Три или четыре...

– Но мама плачет...

– Она плачет потому, что всех вас жалеет: и тебя, и Василия, и Станислава. Вот ведь война что наделала. А мне вас всех жалко.

Она обняла внука за плечи:

– Ты правильно пойми. Когда перестали письма приходиться с фронта, мать начала было кое-что пытаться у разных людей узнавать. И один разок зашел к нам Мишка-милиционер и мне одной сказал, чтобы мы все забыли о твоём отце и не искали – может это бедой обернуться для нас всех. Так и сказал. Что уж он такого сделал? Но он был ссыльный поляк, а к ним строго относились. Вырастешь, сам разберешься, а пока побереги себя и нас.

«Где и кто мой отец? – горестно думал Шурка. – Приехал бы, забрал меня в свою Варшаву – всем было бы легче. Но как же мои дед, мама, бабушка, Самарка, Карий... как я без них? Нет, не надо меня никуда забирать».

– Иди позови на завтрак деда, он у погребницы сети разбирает, – она легко подтолкнула его, – будем лапшатник с молоком есть.

Шурка направился к двери и вдруг у порога, обернувшись, сказал совсем неожиданное для себя, вернее, то, о чем много думал, но вовсе не собирался сейчас спрашивать, да и вообще вряд ли решился бы когда:

– Баб, я кто?

– Не поняла я? – Бабушка внимательно, так, как только она умела, посмотрела сразу на всего Шурку, отчего Шурке некуда было спрятаться, и в нем что-то упало, ему стало не по себе: то ли от того, что он спросил, то ли от того, что вот бабушка сейчас ответит, и то, что она скажет, может создать непреодолимую преграду между ним и всеми, кого он так любит.

– Ты меня о чем спрашиваешь?

Шурке уж некуда было деваться, и он повторил:

– Баб, я кто? Русский или кто?

– А, вот ты о чем.

И как-то спокойно сказала:

– А сам ответь себе... Раз мы все вокруг тебя русские, мама твоя русская, то кто ты? А?

Шурка не ответил, пнув ногой дверь, выскочил во двор. С ходу попав в окружение Цыгана и Верного, цыкнул по-хозяйски на них и побежал к погребнице, где всегда пахло рыбой, мокрыми сетками и где Шуркин дедушка мог внезапно сказать что-то вроде такого: «А что, внук, не махнуть ли нам с тобой за зайцами, а заодно и сетки проверим в Подстепном, а?»

Когда стали садиться за стол, пришла мать, а чуть позже – дядя Алексей.

Шурка любил, когда за столом много людей. Это у него, наверное, было от бабушки, у которой, все знали это, была слабость: зазвать в дом и чем-нибудь попотчевать. Она любила летом сказать: «Ну что, мужики, на вольном воздухе будем есть, под открытым небом?» И все сразу соглашались, и Шурка первым брал стулья и нес их под старую ранетницу, следом взрослые несли стол.

Под скрипучей старой ранеткой Шурка особенно любил есть окрошку.

Баба Груня делала ее из своего кваса, нащипывая в нее сушеную крепко соленую густеру или сапу. Было остро и очень вкусно.

...Только вчера зарезали барана. Тушка его сейчас висела в сенях на большом крюке, а голые – приготовленная к дублению шкура – в мазанке.

Баба Груня сварила щи.

Ели из общей высокой глиняной миски, поставленной на середину стола. Щи были наваристые и горячие. Ели молча и сосредоточенно. Жирные капли щей, падая из Шуркиной деревянной ложки на клеенку, тут же застывали маленькими восковыми кругляшками. Шурка щелкал по ним пальцем, и они легко отлетали на пол.

– Шурк, чать не маленький, – спокойно сказал дед, – прекрати!

Шурка быстро наелся щей и стал ждать лапшатник. Он положил свою ложку на край миски, уперев ее черенком в стол. Ложка держалась, это его забавляло.

– Убери, – сказал дед Шурке.

– Она так интересно стоит.

Но дед сразил все доводы сразу и под корень:

– Чего ж интересного? Как собака через забор заглядывает, того и гляди гавкнет. Неприятно.

Шурка молча убрал ложку.

Бабушка долила щей, все продолжали работать ложками, не трогая мяса.

– Таскайте, – как обычно, будто бы между прочим, сказал дед Шурки.

Но это была команда. Все начали вылавливать куски мяса. В этом не было скаредности. Во всем должен быть порядок, и эту негласную установку все понимали и принимали.

Шурка краем глаз смотрел на мать. Она была спокойна, и не было даже ни малейшего признака того, что она утром плакала. Он знал, и так было уже не раз, если она сейчас что-нибудь скажет веселое, все, включая и дедушку, засмеются (она так умеет говорить), и эта сдержанность за столом и сосредоточенность не от какого-то недопонимания или горя, а от уважения к еде, к хлебу, ко всему тому, что дается нелегко и не вдруг.

«А я еще со своими вопросами высказываю, – думал Шурка, – всем и без них несладко».

Письмо Жукову

– Пойми ты, голова садовая: пенсия колхозника и пенсия инвалида войны – разные вещи. Это говорил красивый дядька в черном кителе с двумя орденами и медалями на груди.

Когда Шурка пришел из школы, отец и его новый знакомый сидели в избе и разговаривали. Перед ними стояла наполовину опорожненная бутылка водки, что сильно удивило Шурку.

Гость действительно был необычный: большая кудрявая голова его, цепкие колючие глаза и уверенный тон – все говорило о том, что человек у них не простой.

Шурке незнакомец сразу понравился. Он потихоньку прошмыгнул мимо них к подоконнику, где обычно делал уроки. Мать сидела рядом, разбирала шерсть.

– Мам, кто это?

– Зуев, дядя Костя.

– А кто он такой?

– На фронте майором был, а теперь инвалид, безногий.

– Как? – оторопел Шурка.

Ему не поверилось: такой сильный, уверенный, говорит громко, бодро, заразительно.

– У него обеих ног нету, – сказала мать Шурки, – мы ему с Василием помогли забраться за стол – выше колен обрубки.

– А как он к нам попал?

– Узнал, что Василий на все руки мастер, приехал на своей трех-коляске какие-то тяги ремонтировать.

– А где ж она, трехколяска?

– Да за сеньями стоит, разве не видел?

– Ты мне скажи, Василий, ты в райсобесе объяснял свои дела или нет? – говорил в это время бывший майор.

– А что я буду объяснять или так не видно? Разберутся. Получим и мы свое.

– Жди! Хрен да маленько, вот что ты получишь. Я их знаю, тыловых крыс, сталкивался не раз.

Он стукнул кулаком так, что его медали и ордена звякнули звонко и убедительно.

– У тебя когда раны открылись? – Он направил на Шуркиного отца указательный палец, похожий на дуло пистолета.

– Примерно через полгода, – сказал отец Шурки.

– Вот теперь слушай, мать твоя – кочерыжка... значит, если в течение года у участника войны после демобилизации возникает инвалидность, то он считается инвалидом войны; а ты колхозник? Колхозник. Пенсия-то у тебя должна быть раза в два больше, а не двенадцать рублей. Так жить нельзя. Я тебе обещаю – я пробью ваших районных крыс! А ты делай мне мой тарантас, договорились?

Он широким жестом разлил по стаканам водку.

– Давай, рядовой Василий Любаев, грохнем за наши победы. Черт бы всех набрал!

– Подожди, – Шуркин отец взял стакан, подвинул ближе к себе, но пить не торопился. – Я был в плену, – сказал он.

– Каким образом? – как-то очень строго спросил майор, так что Шурке стало страшно-вато за отца.

– В тридцать восьмом забрали на срочную в Тощие лагеря. И закрутило. Уже в сорок втором попал в армию к Власову.

– Во вторую ударную?

– Да, так точно. В плен попал еще не получив оружия, не успел.

- А ранило где?
- Это от побоев, неудачно бежал. Правда, контузило под Выборгом, еще на финской.
- А как освободился?
- Американцы в Германии, когда соседний барак с пленными уже сгорел.
- Да, дела... – почесал затылок майор. – Власова не знал, а вот маршала Мерецкова видел, боевой.
- Мам, он откуда взялся, все знает? – удивился Шурка.
- В Москве жил до войны, приехал теперь в Куйбышев к родственникам. Говорят – герой.
- Василий! Слушай мой совет: Жукову надо писать, Георгию Константиновичу, – твердо сказал Зуев.
- Что ты говоришь, товарищ майор, об этом страшно подумать. Кто я такой? – Отец Шурки безнадежно махнул рукой. – У них просить – это все равно как требовать у попа сдачи.
- Разговорчики в строю, рядовой Любаев! – грозно сверкнул глазами майор. И уже тише и примирительно добавил: – И потом – гвардии майор, разницу улавливаешь? Гвардии...
- Не дури, Константин, я был в плену – в этом весь гвоздь, меня и так органы без конца разговорами манежат – работа идет. Нас четверо всего в живых осталось.
- Ну так не тебя же обвиняют, ты чист, в чем дело? И потом – четыре года уже нет Иосифа Виссарионовича.
- Его нет, другие остались. Покоя хочу, устал. Забыть бы все, – отозвался Шуркин отец.
- Лезь тогда на печку к своей трещине и там спокойно сиди, через нее на небушко поглядывай.
- Он помолчал, глядя в стол, ладонью левой руки потер о край стола несколько раз вверх-вниз.
- Подписываемся оба: рядом с твоей фамилией будет моя. Текст я сам напишу.
- ...Письмо написали и отправили недели через две. Дядя Костя как-то хитро свернул его конвертом и заклеил, потом вложил в другой конверт и послал его своему другу-однополчанину в Москву с просьбой вынуть главное письмо и бросить в московский почтовый ящик.

Маслянка

В Утевке много больших красивых улиц: Крестьянская, Льва Толстого, Фрунзе. Но почему-то самые интересные события происходили все больше на маленьких и дальних улицах: в Заколюковке, Золотом конце, Тягаловке, в Исаках, Смоляновке, Лопатиновке.

На носу масленица – дни, наполненные весельем, снежными забавами. Все как бы неосознанно прощались со снегом, хоронили зиму, балуясь напоследок в преддверии весны. Родовались почти язычески солнцу, весеннему свету. Пекли блины и особенно дети радовались им, совсем не пугаясь приближающегося затем поста. Его мало кто соблюдал, больше было разговоров о нем.

Взрослые ребята во главе с Шуркиным дядей Сережей, недавно вернувшимся со срочной службы, решили сладить на самой большой, центральной улице, около Ракчеева двора, маслянку. Будет и на Шуркиной улице праздник.

Непростое это дело соорудить хорошую маслянку. Перво-наперво надо было одним концом вертикально вморозить большой лом в вырытую посредине улицы лунку. Земля была мерзлая, неподатливая. Пока сделали яму чуть не в метр глубиной, умаялись. На другой конец должно было надеваться тележное колесо. Когда таскали воду для заливки в яму, у деда Проня Васьева выпросили хороший такой толстый лом, его и вморозили, не торопясь поливая водой. За ночь мороз сделал свое дело. Наутро лом торчал посреди улицы напротив дома Ракчеевых уверенно и требовательно. Тележное колесо нашлось у Ракчеевых, оно еще с прошлого года было припрятано у них за селницей. Колесо надели на лом, который теперь служил осью, и осталось дело за небольшим: к колесу надо было привязать длинную жердь, а на конец жерди – хорошие крепкие салазки. Две жерди метров по пять длиной принес сам Ракчеев дядя Кузьма:

– Только верните потом. Стишные будут, но ничего, сбейте гвоздями и свяжите проволокой.

Так и сделали. Забава, но помогали и взрослые, артельно все ладилось быстро. Когда же вставили колья сверху в спицы колеса и трое добровольцев с их помощью крутанули колесо, жердь, немного провисая в середине и поднимая снежную пыль, быстро пошла, как циркуль описывая пристроенными на конце салазками окружность, что уже через несколько минут образовались две четкие снежные колеи.

– Андрюха, садись! – озорно прикрикнул Кузьма.

Давний Шуркин приятель Андрей Плаксин словно этого только и ждал. Он лег на салазки животом вниз, правой ногой уперся в дальний угол салазок, левой как можно крепче зацепился за жердину дальше от себя и затаился.

– Пошла, – скомандовал Серега, и толпа уже собравшихся взрослых и ребятишек отхлынула от вычерченного снежного санного круга. Шурка еле успел отступить, как санки с его дружкой, набрав за полкруга удивительно быстро скорость, пронеслись поднимая снежную пыль.

Через три-четыре круга колесо так было раскручено, что вращавшие его сами еле за ним успевали, поддавая скорость напором на колья, вставленные в спицы.

«Разматывается Андрюха, как гирька на веревочке», – только подумал Шурка, как Андрея на его глазах сорвало с круга, и он бесформенным комом влетел в толпу зевак.

– Они чуры не знают, крутят по-бешеному, не удержишься! – сказал он отряхиваясь.

Когда еще двое тягаловских, пришедших попробовать, слетели с саней, Шурка пошел пробовать свою удачу. Он уже сообразил, как надо сопротивляться той силе, которая срывала смельчаков. Эта сила шла от колеса по прямой, по жерди через сани и навывлет, за круг. «Значит, надо, – думал он, – лечь спиной к центру, ухватившись руками не за сани, а за жердь, обеими ногами упереться в дальний угол саней». Он так и сделал. И казалось, через два круга

он поймал свою удачу, но ребята там, около колеса, поднажали на свои рычаги, и он не стал различать опоясывающих маслянку людей – все слилось в сплошную черную массу. Он понял, что не удержится, его стало огромной силой отрывать от жердины, руки слабели, и вдруг его обожгла мысль: он зря так сел. Важно не удержаться на круге, главное – вовремя упасть, ничего себе не сломав. Он почувствовал, что скорость стала большой, тормозов ей нет и может случиться беда с ногами. Его уже и на самом деле отрывало и переворачивало слева направо на спину. Он сжался в комок, поджав колени, и тут же неудержимая сила сорвала его и сквозь толпу, образовав в ней брешь, выбросила в сугроб.

– Ты молодец, – сказал Андрей, протягивая ему его шапку, – продержался десять кругов, столько, может, из наших никто не продержится.

– Тут никто не удержится, – ответил Шурка, выгребая снег из валенка, – силища здоровенная, очень жердь длинная – рычаг, поэтому результат.

– Гришка Варивон на любой удержится, проверено.

– А кто это такой?

– Знакомый один, с ремеслухи, в гости приезжает из Самары. В воскресенье увидишь, – сказал, немножко важничая, Андрей.

– Здоровый?

– Ловкий как зверь во всем. У него все коленки в рубцах.

– Почему? – не понял Шурка.

– Он дерется здорово, от ножей ногами обороняться умеет.

– Ну ты даешь!

– Увидишь сам, я познакомлю.

Подошел дядька Сергей и попросил:

– Как расходиться будем, надо бы полить круг водой, за ночь заостенеет. Поможете?

– Конечно, – с готовностью ответил за обоих Андрей.

– Вот уж тогда-то и твой Варивон не удержится на ледяной дорожке-то, – сказал Шурка.

– Поживем – увидим, – уклончиво ответил приятель.

Картина

Эта картина Шурке понравилась сразу. Ее повесил дедушка Иван в передней на самом видном месте, над столом. В центре был изображен скачущий на гривастом огромном коне могучий всадник, такой же могучий, как каждый из трех богатырей на картине, которая висит над Шуркиной кроватью в спальне.

Шурка заметил, что все в доме любят этого всадника с таким непривычным именем – Тарас Бульба.

Он уже знал историю про Тараса. Знал, что догоняющие его поляки, желтым пятном светлеющие в углу картины, схватят этого великана, и он погибнет. Схватят тогда, когда он остановится, чтобы поднять свою люльку. «Зачем он остановился, зачем он, такой громадный, погиб из-за какой-то неприметной трубки». Незаметно, наперекор всему, Шурка начинал верить, что Тарас так и будет скакать не останавливаясь, а то, что говорят взрослые о его гибели, неправда. «Просто они не знают всего. Вот он поскачет, поскачет, подумает и не остановится, а соберет своих казаков, и тогда они покажут этим ляхам». Привязанность Тараса к своей люльке была для Шурки мучительно непонятна.

Непонятно было и другое. Шурка давно знал, что отец его поляк, а все в доме матери и в доме деда – русские. «Но ведь Тараса Бульбу, которого все так любят в наших домах и которого я сильно люблю, погубят поляки. Так почему же все меня любят – я ведь тоже поляк? – недоумевал Шурка, рассматривая картину. – Они не должны меня любить!» И когда он подолгу глядел на скачущих всадников, ему начинало казаться, что самый первый на коне, догоняющий Тараса, его родной отец. Ему становилось жалко и Тараса, и отца, который почему-то оказался поляком, когда все вокруг русские, и себя.

«Нет, меня не любят в этом доме, а только делают вид, что любят». И он стал с болезненной подозрительностью присматриваться к своим домашним, стараясь обнаружить под их дружелюбием неприязнь. Но ее не было. И он мучился: «Как же с Тарасом, ведь его сожгли, сожгли...».

И вдруг однажды он нашел отгадку: «Если по-прежнему меня любят дома, значит, все-таки поляки не догнали Тараса, значит, он и теперь гуляет где-нибудь со своим войском по такой загадочной земле – Украине».

Речка Утевочка

Утевочка – особенная речка. Она есть и ее нет. Когда весенние воды получают вольную волю там далеко в степи, где глазу не видно конца и края равнине, где только слева далеко-далеко виднеются на горизонте поднявшиеся по светлым тучкам летнего неба домики и церковь села Покровка, объявляется речка Утевочка.

Собравшись в один могучий поток, утробно картавя, пенясь, эти воды устремляются к селу. Подойдя к околице и резко взяв в сторону Самары, он все-таки не минует Утевку, а как острым ножом отрежет от общей краяхи села несколько улиц и прорвется к стадиону, где, благоразумно вильнув влево, войдет в озеро Шамино, а там уж и рукой подать до озера Приказного. И напитает речка на своем пути все не только водой, но и оставит в подарок жирных карпов и карасей. И, запертые в озере Приказном, соберут они толпы рыбаков и рыбачек. И будут рыбаки и рыбачки, пойманные на кулан собственного азарта, топтать берега Приказного.

– Варька, ты долго еще рыбалить будешь?

– Нет, Нюра, парочку еще поймаю, чтоб уж на полную сковородку было.

Такие вот практичные рыбачки, не то что мужчины. Женщин частенько бывает больше в такие весенние дни у озера, до двух-трех десятков.

Веселым и многолюдным становится озеро Приказное весной благодаря Утевочке. Веселыми становятся женщины-рыбачки благодаря речке.

Огород Головачевых упирается в Утевочку и от нее не отгорожен.

Шуркин дед не любит шумливой рыбацкой толпы на берегу озера. Да и к чему ему это? Если он свой вентерь или кубарь всегда поставит у себя в огороде в эту пору между делом. Между делом и опорожнит его, вывалив в тазик чумазые золотистые слитки к восторгу Шурки. Он и зимой не пойдет облавой на зайца, а добудет его здесь же, в своем огороде, деловито и с легкой усмешкой над бедолагами из охотничьей артели.

В русле Утевочки растут раскидистые ветлы и высокие тополя. Есть и осанистый дуб. В огороде деда Ивана стоит старая ранетка, такая древняя, что кажется Шурке, будто она бабушка всем деревьям, всему подлеску, который скор здесь на рост. Шурка поставил опыт: вырезал полуметровый тополиный черенок и воткнул его прямо под ногами, как рука взяла. Теперь из него за два года поднялось деревце выше Шурки. Прет здесь все из земли, что ни посади. Оно и понятно: вокруг чернозем да вода. Хотя летом Утевочки как бы нет, но копни где пониже лопатой на три штыка, и вот она – живительная влага. Разве что в самый засушливый год уйдет влага поглубже, но знает все живое окрест: весна впереди, придет талая вода из Курней, да так напитает землю, что с лихвой хватит всем и на все.

От Ветлянки, из Курней, через степные просторы, рытвины, огороды, через озеро Шамино прорывается Утевочка частью воды своей в озеро Приказное, а другой частью – в обрамленную желтыми песчаными берегами Самарку, чуть выше притягательного местечка, любимого всеми рыбаками – Платово.

Один разок Шурка рискнул проверить этот путь и больше с тех пор не решается повторить его.

Оттолкнувшись на дедовом огороде веслом от старой ранетки, он направил плоскодонку в русло Утевочки и, подхваченный потоком, совсем быстро, миновав десяток огородов, оставшихся без изгороди, оказался на озере Шамино. Все, что было слева, – залитые водой улицы края села, протока из Шамино в Приказное – ему было известно. Вот то, что бурлило и пенилось справа, – манило непреодолимо, и он поддался собственному порыву. Загребая вправо крепким веслом, Шурка устремился пока еще по довольно спокойной водной глади к Искровской рытвине – в русло Прыгалки.

Как только лодка оказалась на гребне потока, рвущегося через Прыгалку на простор к Самарке, неистово желавшего, очевидно, соединиться с другим основным потоком – самарским и, обнявшись неразрывно, прорваться к матушке Волге, чтобы там, где-то далеко-далеко, выплеснуться в Каспий, Шурка понял: сопротивляться этому желанию невозможно и губительно.

Грозный и мощный водяной вал, похоже, мог утихомириться, только попав в Волгу.

Пенящаяся, рвущаяся масса воды, несущая в себе доски, бревна, очевидно, сорванные с мостов в верховье, вывороченные с корнем дубы, осокори и всякая другая мелочь и совсем не мелочь – вот что представляло собой русло Самарки. Надо было суметь не попасть под встающие на дыбы в воде осокори, торпедами мчащиеся бревна, не налететь на угрюмый многопудовый топляк. Вокруг все картавило, бурлило и угрожало.

Шурке все-таки удалось уйти с ревущего потока на обочину в осинник на Платово, где, отдышавшись, он устремился через огромное водное пространство назад, в Утевку.

Уже смеркалось, когда его, обессиленного, но не потерявшего духа, подобрал бывалый Митяга Коршунов, который испытывал в тот день свою самодельную моторку.

– Чудеса, паря, – удивился скорее сам себе Митяга, – я ведь вчера хотел опробовать мотор-то, да бензина не было, сегодня, вот, получилось, едренте.

Шурка смотрел на Митягу и молчал. У него, кажется, не было сил даже говорить. Руки жгло от мозолей: вода и отсутствие варежек сделали свое дело.

Шурка впервые видел моторку. И теперь работающий мотор, Митяга, привязывающий его плоскодонку к своей лодке, голос Митяги откуда-то издалика, глуховатый и, как у деда, ласковый – все было как во сне...

«Чего он суетится, ведь я же доплыл уже», – усмехнулся Шурка и начал терять сознание.

– Чудеса, паря... ек-макарек!

Чуть позже он вновь услышал ворчание Митяги и вяло удивился:

«Где это я, и почему кругом вода?»

...Такая вот речка, Утевочка.

Сейчас зима, и речки как бы нет. Есть маленькие островочки льда.

Но это пока...

В дебрях Уссурийского края

Шурка лежал в темноте на деревянной кровати в закутке за голландкой, и лицо его было в слезах. Жуткие грабители: Морган, Флинт, его бывший соратник отвратительный одноногий моряк Джон Сильвер со своим попугаем из «Острова сокровищ» – все они забылись, стали неинтересные. Бедный наивный дикарь из уссурийских дебрей гольд Узала, дитя природы, далекой и красивой, – он стоял перед глазами. Уже вторую неделю вечерами в дедовой избе читали эту чудесную книгу «Дерсу Узала».

Шурка убегал ночевать к деду, и мама на него сердилась. Но он не мог пропустить эти чтения вслух, когда все в избе, затаив дыхание, ловили каждое слово читающего, боясь пошевелиться.

С первых страниц этой удивительной книги он растворился в ней, как растворились в дебрях Уссурийского края Арсеньев и Дерсу Узала, органично слившись с его обитателями. Этот край манил своим бесчисленным множеством людей, рек, зверей и птиц. Ошеломляли новые слова: изюбр, рассомаха, хунхузы, вепрь, кабарга... Одних названий рек Шурка насчитал около десятка и сбился: река Кумуху, река Витухе, Улэнгоу, Дунгоу, Лефу, Сакхома, Алчан, Кулумбе, Амагу, Пия, Кусун...

Летом он прочитал «Всадника без головы», с начала зимы чуть не всего Майна Рида, озадачив своим темпом чтения библиотекаршу тетю Валю Богатыреву. Но такое с ним впервые. Амба! Уссурийский тигр! Вызывало восхищение отношение гольда к властному хозяину тайги. Поражал мир, незнакомый и манящий, в котором растворены все люди, изображенные в книге, и в который влекло и манило Шурку. «Дебри Уссурийского края». Он и раньше слышал это слово «дебри», оно всегда будоражило его воображение: «и в дебрях бури бушевали» – так часто пели в песне о Ермаке. Было в этом слове что-то необузданное и холодное. А Дерсу Узала был с Арсеньевым в дебрях как дома. Чудесно! Мощь и величие Уссурийского края покоряли.

И вдруг такой конец:

«Часа через полтора могила была готова. Рабочие подошли к Дерсу и сняли с него рогожку. Прорвавшийся сквозь густую хвою солнечный луч упал на землю и озарил лицо покойного. Оно почти не изменилось. Раскрытые глаза смотрели в небо. Выражение их было такое, как будто Дерсу что-то забыл и теперь силился вспомнить. Рабочие перенесли его в могилу и стали засыпать землей.

– Прощай, Дерсу! – сказал я тихо. – В лесу ты родился, в лесу и покончил счета с жизнью».

Первой пришла в себя баба Груня, она всхлипнула, по-детски икнула и промолвила:

– Вот ведь везде бандиты найдутся на хорошего человека.

А Николай Большак, который приехал из Покровки за овчинами, да так и застрял из-за книги у Головачевых, заключил философски:

– Важнее человека и природы в жизни ничего нет. Писатель все правильно рассказал.

Шурка ничего не мог сказать, у него в горле ком, и он боялся разрыдаться. Хорошо, что закуток отгорожен от общей комнаты цветастой занавеской и его никто не видел.

«Ведь неверно, что Дерсу покончил счета с жизнью, не он покончил, а его убили. За это кто-то должен отвечать», – эта мысль не давала ему спокойно лежать. «И как же так в жизни получается? Людей убивают, и никто за это не наказан. Пушкина убил Дантес, все знают, и он не наказан. Дерсу убили, сколько лет прошло – никто не знает, кто его убил».

Душа разрывалась у Шурки от несправедливости, и он не знал, что с этим делать.

– Я вам другое чтение привез, тоже очень интересное, как обещал, но это толстая книга, – громко сказал Большаков.

Он шумно поднялся с пола и пошел в сени, оттуда быстро возвратился, читая на ходу:

- Александр Дюма. «Граф Монте Кристо». Эх и история!
- Нам твоя Элиза Ожешко понравилась, хоть и полька.
- А это француз, баб Грунь!

Шурка продолжает лежать молча. Ему казалось странным: как можно так быстро переключаться и говорить совсем о другом. Только все узнали, что убили Дерсу, о котором, правда, еще недели две назад никто ничего не знал, но теперь-то совсем другое дело. Ему страшно жалко Дерсу, обидно за поведение своих, которые говорят уже совсем о другом, а не об этой удивительной книге.

Но дядька Сережа и Большаков берут стоявшую у стены огромную в два метра картину и кладут на два специально для этого поставленных стола. Шурке не утерпеть, он встает и идет к ним. На картине развеселые и разухабистые казаки пишут письмо турецкому султану.

Два Шуркиных дядьки, Алексей и Сергей, вместе с Большаком рисуют ее масляными красками по клеточкам. Рядом лежит то, с чего рисуют: репродукция, вырезанная из какого-то журнала. Прошлый раз дорисовали голого по пояс казака, развалившегося в центре картины, огромного и мускулистого, похожего на тигра Амбу. Чудно: теперь, когда Шурка смотрел на него, он казался совсем иным, чем в последний раз, еще не просохший, зависимый от движения кисточки. Чужой и необузданный, он жил своею жизнью, и она ему была важнее всего.

«Он мог бы убить Дерсу? – задал себе вопрос Шурка и вначале засомневался с ответом, а потом успокоился. – Нет, конечно же, нет: в книжке тигр Амба и Дерсу разошлись мирно, они уважали друг друга».

Изба Горюновых

Совсем маленькие сестренки Любка и Надюха еще спят, а Шурка и Петя уже сидят за столом. Шурка помогает раскатывать маме большую лепешку из теста, а Петя, испачкавший лицо мукой, готовится выдавливать из нее стаканом кругляшки. Они пекут пышки.

– Мам, а изба Горюновых, она почему так называется? Она ведь наша. Потому что горюнились часто, горюшко было, да? – спрашивает Шурка.

– Все было, да прошло. Избу эту нам дед с бабой Головачевы купили. Когда вернувшийся с войны Василий увел за руку меня в дом к своей матери Прасковье, не понравилось ей это. Много девок было на селе, а он меня с тобой, с чужим ребенком, привел. Выговаривала часто мне свекровь. Я плакала, Василий терпел. Просил меня не обращать внимания. Не выдержал сам: в один день взял тебя на руки, хлопнул дверью и ушел от матери своей, а я за ним еле успевала бежать. Шли, сами не знали куда. Опомнились, когда оказались на Самарке, у воды.

– Ну что, топиться будем? – спрашиваю Васю, а сама сквозь слезы смеюсь.

И смех, и грех.

– Умру, а к матери не вернусь, – отвечает Василий.

Сели мы на желтенький песочек. Я плачу. Чудно теперь вспоминать.

Смеркаться начало. Под лодкой какой, что ли, думаю, будем ночевать, больше негде. А тут ты плачешь, маленький совсем еще. Вдруг мать моя выходит из кустов:

– Вот они где! А я обыскалась везде, обезножила.

И баба Груня скомандовала:

– Пошли к нам!

– Не пойду, – заерепенился Василий.

– Почему это? – не сдается твоя бабка, – я Ивана успокою.

Приходим в дом, дед во дворе. Увидал нас с Василием, тебя на руках, взорвался:

– Ах, туды-растуды, знал ведь, что у вас ничего не получится!

– Получится, Иван, получится.

Баба Груня выступила вперед и еще увереннее заявила:

– Уже получилось!

– Что? – не понял ваш дед.

– А вот то и получилось, что у мужа и жены должно получиться. Понял? Беременная она.

– Я уже Петенькой ходила, – пояснила мама, отнимая у Пети стакан, в который он успел зачерпнуть муки и пытался на коленках насыпать маленькие беленькие горки.

– Ну дела с вами... – удивился дед.

– Ночью дед Ваня и баба Груня посоветовались, а наутро поехали в Кинель к Горюновым, которые недавно уехали из Утевки и их изба пустовала. Сговорились. Они купили у них дом и год за него расплачивались. Так вот мы и зажили в горюновой избе.

Аксюта Васяева

С тех пор, как Василий Федорович стал сам ходить на костылях, в избу к Любаевым зачистили. Одному надо ножницы поточить, другому – сепаратор или пахтонку отремонтировать, валенки подшить. На все хватает времени у Карася, так по-уличному зовут отца Шурки.

– Ты бы, Вася, хоть говорил, сколько стоит чего. А то меня одолевают, – жаловалась Катерина.

– Сами сообразят.

И вправду, за работу приносили яички, молоко, а то и просто обещали «подмогнуть когда надо».

– И как это он все умеет? – удивлялась Аксюта Васяева. – Мою пахтонку три мужика смотрели, а он сделал.

Аксюта забежала за углями для утюга, да невольно задержалась – поговорить охота.

– Руки у него соскучились по делам, вот и вся разгадка. Его теперь не остановить, я знаю. Семь лет в госпиталях – не фунт изюма, – отвечала мать Шурки.

– Неужто прямо все семь лет? – ахнула Аксюта.

Она приехала жить из соседней Покровки и многого не знала.

– Семь лет, но с перерывами, – поправилась Катерина. – За все время года три пожил дома, приезжал, а как раны открывались – снова в госпиталь. В пятидесятом, помню, чуть не год пробыл.

– Приезжал... – протяжно повторила она, – а то бы откуда моим ребятишкам взяться. Вон они – свидетели мои.

– Туберкулез костей, а вы такое, – округлила глаза Аксюта, – настрогали с Василием.

Отца нет в избе, он, позавтракав, ушел в свой сарайчик, и оттуда уже слышен стук его неутомимого молотка о жестянку.

Шурка смотрел на Надюху с Петькой, которые были заняты своим делом: отвоевывали друг у друга место в углу за столом – там лавка шире и рядом окошко, и думал: «Они свидетели, а я кто? Свидетель чего?»

Эта мысль возникла у него случайно, и он не знал, что с ней делать. Она крутилась и не уходила из головы. Ему стыдно. Неужто мама догадается, что он так может думать? «Только бы Аксютка, только бы она так не подумала и не спросила маму, ведь не глупая же она совсем». Он поднял голову и увидел розовое, молодое Аксютинo лицо, ее озорные глаза.

– Ох, и ребятишки у тебя молодцы, все такие разные. Эти белявые, а Шурка – чернявый, и волосы выются. Вот погоди, годков десять: все девки твои будут, ей-богу, – говорит она заразительно, – вишь какие у тебя губы толстые!

Шурка, не зная, как себя вести, сидел молча.

– Аксютка, уйди, а то я тебя сейчас ухватом охажу, че глупости разводишь, – весело шумнула Шуркина мать.

– Все, все, все, и так угли мои тухнут!

Она подхватила с шестка свой чумазый чугунок и через секунду была в сенях. А чуть позже ее голос уже доносился со двора – она разговаривала с Василием Федоровичем. И чему-то опять громко смеялась.

Зимним вечером

У Головачевых играли в лото. Шурка был рад, что остался ночевать у деда. Ему нравилось наблюдать эту игру, а иногда, случалось и самому участвовать. Играли спокойно и дружелюбно. За окном синел февральский поздний вечер. Замерзшие окна и подвывание ветра делали особенно уютной большую переднюю, где шла игра. Игроки сидели за столом посредине комнаты, а Шурка лежал на кровати и наблюдал за взрослой забавой.

Сегодня пришел поиграть Сашка Мазилин, и все стало немножко по-другому. Смешливый и необидчивый, он всегда в центре внимания. Мешочек с бочонками у Мазилина.

– Козьи ноги! – зычно провозглашает Сашка.

– Говори по-людски, – сердится Пупчиха – соседка Головачевых.

– Одиннадцать, – подсказал дядька Сережа, оставивший свои учебники ради игры.

– Сашка, ты какой-то неправильный, – паникует Пупчиха, – брось люсить!

– Салазки! – продолжает «кричать» Мазилин.

– А это у нас что? – вновь переспросила суматошно Пупчиха.

– Шестьдесят шесть, – поправился Мазилин и продолжил: – Тудыль-судыль, что означает для неграмотных обнаковенные шестьдесят девять.

– Кончила, кончила низом! – радостно взметнула пухлые белые руки Пупчиха, – кончила, как ты ни хитрил-мудрил, Сашка!

У нее при ее небольшом росте розовые массивные, крепкие руки.

Когда она сидит за столом, видны только ее голова, не такая, как у всех, – с кудряшками светлых, льняных волос и эти чудные здоровенные руки-клешни. Во время ее работы в пивном киоске на площади у продмага в окошечке видны только ее руки и пивные кружки.

– Плакали ваши денежки. – Она по-детски причмокнула ярко-красными губами и ладонью смахнула медяки в кружку. – Ну вот, пришла за закваской, Груня, а ухажу с пятаками, раз кислого молока нет.

– Э-э-э... – так нечестно, – вмешался Мазилин. – Объявляю ультиматум тебе, Нюра!

– Чевой-то? Ультиматом. Я и так этих матюгов-матов за день слышу – голова болит, пожалей!

– Вот ведь женщина какая ты, Нюра, некулюторная, – оседлав своего любимого конька – подурочить публику, – сказал наставительно Мазилин. – Я говорю что? Или ты продолжаешь играть до последнева, или возвертай деньги на стол.

– Щас тебе! – лаконично, но непонятно сказала Нюра. И добавила:

– Играйте без меня, вас народу здесь... курочке клюнуть негде.

– Да уж! – удивился Мазилин, – чураешься ты нас.

– Не замай, Сашка, – обронил Шуркин дед.

– Вот, вот, мне еще закваску найти надо, к Микляевым сбегаю.

И Пупчиха выкатилась сначала из-за стола, потом из передней и пропала в задней избе.

«Как лотошный бочонок, – подумал Шурка, – всегда бодрая, раздутая от удовольствия, свежая и выкрашенная лаком».

Игра в лото продолжалась. Позвали и Шурку. Он сел за стол около бабы Груни, она подвинула ему десять копеек. Три монетки по три копейки и одну погнутую копеечку, рядом насыпала горсть тыквенных семечек, чтобы закрывать цифры на картах.

– Поиграй вместо меня, – сказала она, – а я пока паголенки надвяжу да пельмени с мороза принесу.

Семечки пахли очень вкусно, и Шурка сразу же забеспокоился: выдержит ли он соблазн?

«Кричать» пришла очередь дядьке Сереже. Он умел так быстро из горсти то громко, то тихо называть числа, что трудно было угнаться, пока не наступал по правилам игры тот момент, когда надо было доставать по одному бочоночку.

Возобновившаяся игра прервалась неожиданно. Хлопнула в сенях дверь, и в избу со сбившимся на голове платком, с краснощеким от мороза лицом вкатилась Пупчиха.

– А-а!.. – воскликнул Мазилин, – совесть заела, возвернулась.

Но Пупчиха его не слышала и, кажется, не видела.

– Ванечка, – подкатилась она к Шуркиному деду, сидящему за столом спиной к голландке, и заморгала часто своими круглыми глазами, – Ванечка, у меня в доме вор.

– Что городишь-то?

– Правду говорю. Я пришла, а замок на сенцах открыт. Я это, ну думала, что забыла закрыть сама, и прошла в сени-то, а дверь в избу приоткрыта. Чую, что-то не то, не могла я дверь-то зимой открытой оставить, верно ведь? А потом вдруг слышу: кто-то дышит там. Я на цыпочках, перепугалась: убить ведь могут... так я хожу на улицу и к вам.

– Ну что, Сашка, – сказал Головачев как-то очень спокойно, будто это привычное какое дело, – пойдем посмотрим?

Мазилин вначале как-то нервно дернулся, а потом чересчур, как показалось Шурке, воинственно выкрикнул:

– Знамо дело пойдем, ружьецо у тебя где, дядь Вань?

Он обвел избу решительным взглядом, увидел у себя за спиной высоко на стене висевшее на двух гвоздях ружье и полез доставать.

– Хошь у меня и ладанка на груди, а так надежнее!

– Да не чуди, хватит и лопаты, – усмехнулся Головачев.

– Вань, – сказала бабушка, – боюсь я.

И кротко посмотрела на мужа.

– Ничего, будьте дома, а ты, Сережа, пойдем на всякий случай.

И они втроем ушли.

Вернулись быстро. В плетне, отделявшем двор Головачевых от Пупковых, была калитка.

– Вот ведь холера какая, сиганул так, чуть кубанку с головы не сшиб, – говорил возбужденно Мазилин.

– Чего же не стрелял? – насмешливо спросил Шуркин дед.

– Да ведь я хотел, а потом он меня в снег смахнул, в сугроб, пока то да се, темнотища такая...

Из разговоров выяснилось, что когда деда Ваня вошел в сени с лопатой, вор выскользнул в открытую дверь за его спиной и был таков.

Сели снова играть. Не прошло и полчаса, как неожиданно явился гость – Борька Жабин, новый приятель Сережи. Он недавно приехал из Зуевки с родителями и начал работать на стройке подсобным.

Раскрасневшийся, он шумно разулся и подсел к играющим. Это был крепкий парень, широколицый, с темными цыганскими глазами. Волосы у него были странные: длинные и очень подвижные, они ровно лежали на Борькиной голове, словно резиновые. Когда он низко наклонял голову, они спадали вниз и закрывали лицо до подбородка. Жабин в такие моменты, привычно и не спеша мотнув, как лошадь, головой, одним движением укладывал их на место.

– Давно играете? – спросил Борька, мотнув головой и оставив ее немного в неестественно поднятом положении, стараясь удержать волосы дольше обычного закинутыми назад. Так он выглядел несколько горделивым.

– С семи часов, – ответил дядька Сережа.

– А сейчас уже девять, – подытожил зачем-то Жабин.

Игра шла своим чередом, а Жабина почему-то тянуло на разговор.

– Мороз-то на дворе какой, – ни к кому не обращаясь конкретно, сказал он.

У Шурки семечки закрыли сразу почти всю карту, близилась развязка, и он не отрывал глаз от стола, перестав наблюдать за Жабиным.

Вдруг Мазилин встал и что-то сказал Шуркиному деду шепотом в ухо, важно изобразив из левой ладони подобие рупора.

Иван Дмитриевич, ни на кого не глядя, кивнул головой. И Мазилин тут же вышел из избы.

Жабин быстро встал и направился к выходу.

– Сядь, – веско, не глядя на Борьку, сказал дед Шурки. – Ты никуда не выйдешь, дверь снаружи Мазилин закрыл на замок.

– С чего это? – нервно спросил Борька.

– Придет Мазилин, тогда скажем.

...Мазилин вернулся быстро.

– Он это, дядя Вань, он, вот стервец, явился не запылился глаза отводить, дураков нашел, – зачистил он. – Чилижным веником отходить вражину, что ли?

Выдвинув стул на середину избы, поставил на него валенок.

– Аккурат все подходит, его следы, все промерил до самых ворот. Твой валенок? – он ткнул указательным пальцем почти в лицо Жабину.

– Ну, мой, – затравленно огрызнулся тот.

– А мне и не надо было вещественных доказательств, я так сразу все понял, когда ты явился нас пощупать: узнаем мы тебя или нет. Я в спину твою чуть не пальнул, по ней тебя и узнал.

– Как оказался в доме у Пупчихи? – буднично спросил дед Шурки.

– Да просто, у нее замок никудышный.

– Зачем залез?

Шурка смотрел на вора, и ему странно было видеть обычного человека, похожего на всех, но переступившего какую-то очень важную черту, которая враз разделяет людей.

– Дядя Вань, честное слово, я хотел взять только конфеты.

Борис опустил голову, спрятав лицо под сноп своих причудливых, как водоросли, волос. И, чуть помолчав, добавил:

– Шоколадные.

– Вот дурак-то, прости Господи, – выдохнула Шуркина бабушка, – а я еще дивовалась: чтой-то он нервничает, окаянный, закалякать хотел нас. Явился, басурман.

– Дядь Вань, отпустите, – совсем по-детски вырвалось у Жабина, – ей-богу, больше не буду.

– Что будем делать, Сашка? – обратился Иван Дмитриевич к Мазилину.

– Утро вечера мудренее, пускай завтра с Пупчихой договариваются полюбовно, если простит – одно дело, нет – совсем иное, – предложил Мазилин, осанившись и поигрывая плечами.

– Слышал, Борька, пусть будет так. А теперь ступай, – согласился дед Шурки.

Жабин вскочил и бросился к выходу.

– Стой, гражданин Жабин! – усмехнулся Мазилин.

– А? – невнятно и растерянно откликнулся Борька.

– Валенки забирай, он нам здесь мешает. Зачем нам твои бебехи?

Все засмеялись.

Когда хлопнула дверь в сенях, бабушка осторожно сказала:

– Верно ли сделали, что отпустили на ночь, вдруг спалит нас?

– Это ж надо додуматься нас всех спалить? – возразил Головачев.

– Будет городить-то!

Королевский суп

У дядьки Сережи созрела идея попробовать царского или королевского супа. Он как вернулся из армии, все придумывает чудное.

– Шур, вон видишь на сельнице сидит стая воробьев?

Шурка давно заметил: последнее время воробьи тучей стали залетать к ним во двор, сидели и чулюкали на солнышке.

– Давай пальнем разок мелкой дробью.

– Зачем?

– Птица чем мельче, тем вкуснее. Все короли это знали, поэтому ели колибри, бекасов, куликов разных... смекаешь?

– Не очень.

– Режь свинец, катай самую мелкую дробь, ясно? На два патрона.

– Что, будем охоту на воробьев открывать?

– Так точно, может, они вкуснее голубей.

– Деда не заругает? – сомневался Шурка, – во дворе палить? Скотина кругом.

– Нет, мы ему объясним потом. А летом черепашого супа хочу попробовать.

– Чего? – опешил Шурка.

– Ну, в Подстепном пошарить, а лучше в Ревунах, найти черепаху и суп сварить.

– Разве у нас живут черепахи, они же в теплых странах.

– Глупости, я уже одну находил!

– Может, кто купленную, базарскую потерял, или сама сбежала?

– Да нет, люди, как ты, ничего не знают. Живут у нас они. А нынешним летом я знаешь что видел?

Шурке давно хотелось увидеть змею-медянку, о ней ходили легенды.

Но Серега удивил еще больше:

– Я видел птичку колибри, вот! – Он значительно посмотрел на Шурку, как если бы открыл новый Монблан или Эверест.

– Как? Она же в теплых...

Серега не дал договорить Шурке.

– Вот, вот, а что мне делать, если я видел, как она подлетела к цветку, сунула туда клювик и начала пить нектар?

– А может, это большой шмель?

– Нет, какой у шмеля клюв, ты это видел?

– Нет, – растерялся Шурка. – Колибри... но она же маленькая?

– Да, раза в два больше шмеля.

«Ох, и чудной мой дядька, – подумал Шурка. – Никогда не знаешь, правду он говорит или дурачится, а еще в институт готовится поступать».

Ответ от Жукова

В начале апреля Василия Любаева вызвали в райвоенкомат, потом в райсобес – и закрутилось колесо! Оказывается, пришла бумага из Москвы, теперь ему срочно надо было явиться на перекомиссию. Он явился, не тянул, и оказалось, что Любаев теперь инвалид не третьей группы, а второй. И пенсия ему положена как участнику войны, а это совсем другое дело, не то, что раньше, как колхознику. А еще через неделю в райсобесе ему сказали, что он должен получить компенсацию, которая положена за то, что раньше не добавили.

Шуркин отец получил сразу больше двух тысяч рублей. Было решено строить новый дом!

– Вот и нас Бог вспомнил, – радовалась Катерина, – спасибо ему!

– Спасибо Зуеву Косте, я бы сроду не решился, – признавался Шуркин отец. – До следующей зимы изба бы не простояла: стена совсем повалилась. Но ничего, будем зимовать в новой!

– Вася, а надо всего сколько – ужас?! Где мы чего наберем?

– Я все продумал. Весной сделаем саман, за лето сложим стены артельно. В лесничестве меня включили в список на вырубку делянки: там наберем каких-никаких бревен на доски: на пол и потолок. Там осина и осокорь, я знаю – это за Зимней старицей – сойдет. На делянке придется работать тебе, Катерина, и Шурке. Согласны?

– Согласны, – загорелся Шурка.

– Я поговорю, должны же принять в артель замену вместо меня, коли я не могу.

– Согласятся, согласятся, – заторопилась мать. – Отец поможет, правильно?

– С отцом твоим вроде бы мы уже стакались, он во всем обещал подмогу. С начала лета должны лесины заготовить, высушить, в августе распилить на пилораме, а к этому времени убрать развалюху и выложить стены, иначе к зиме не вселимся.

– Убрать? – выдохнул Шурка.

Как ни плоха была стена за печкой, пусть оттуда «сытило», как говорила мама, холодом, но это была изба – оплот всего, и вдруг этого не будет?

– А где же мы будем жить? – спросил Шурка.

– Шурка, да ты что, мы и под открытым небом не пропадем, чего испугался, лето же будет, – рассмеялся отец.

«Но все равно же? Печка, варить как? И все прочее...» – соображал на ходу Шурка.

Отец вел свою линию крепко:

– Корову пустим в стадо, освободится мазанка – почистим, поставим примус и живи хоть до белых мух, верно?

Шурка редко его видел таким. Он и сейчас не очень был развеселым, но глаза его и лицо светились какой-то особой радостью, не соглашаться с ним было нельзя. Да и Шурка давно понял: сопротивляться бесполезно. Он все делал по-своему, ибо всегда верил, что прав.

– Ох, развоевались мы что-то, давайте ужинать, а то совсем темнеет, – забеспокоилась Катерина.

– Начнем! Только начать надо, – задумчиво сказал отец, – а там война план покажет. Живы будем – не помрем. Так, Шурка, или нет?

– Так, пап, – подтвердил тот.

– Ну вот, мать, мы и договорились обо всем, считай полдела сделали.

– Помогите нам, пресвятая Богородица, – сказала мать.

И это очень удивило Шурку. Она так никогда не говорила.

Жаворонки

Шурка проснулся рано. Он не мог долго спать в такой день. Его мама гремит печной заслонкой, она собирается печь «жаворонков» – птичек из теста. Бывает это всегда в середине марта и по-разному: можно раскатать тесто, свернув валик, этот валик завязать узлом – получится ловкая завитушка. Точным движением ножа делается с одного конца птичий клювик, с противоположного – хвостик. Глазками служат головки спичек или просяные зернышки. А можно витое тельце не делать, а так: просто слепить птичку с клювиком и хвостиком.

Такими птичками заманивают весну и встречают перелетных птиц с юга:

Жаворонки, прилетите к нам,
Тепло леточко принесите нам,
Нам зима недоела —
Хлеб, соль у нас поела.

Эти слова надо пропеть обязательно забравшись на конек сарая – так всегда казалось Шурке, поэтому он и сейчас устремился наверх.

Любка стоит в отцовских валенках посередине двора и лепечет приветливые слова. А самая маленькая Шуркина сестренка, Надюха, вообще еще спит.

– Сами вы мои жаворонушки звонкие, – радуется мама. – Шурка, не бери Петю, упадет карапуз.

После песенки про жаворонков, пропетой на крыше сарая, слегка промерзнув, хорошо сидеть за столом и есть, запивая топленым молоком, горячие пышки, которые мама делает из того же теста, выдавливая их на столе стаканом из большой раскатанной лепешки. Это вам не затируха!

– Мамака, а мы зовем, зовем жаворонков, а я не видел ни разочек их, они где живут? – спрашивает Петя.

– Мам, и я не видел ни разу жаворонка, – спохватывается Шурка.

– А когда ходили к деду на бахчи, помните, слушали, – подсказывает мать.

– Помню, помню, – лепечет Петя, – но мы их не видели, они высоко в небе. Вон ласточки у нас в сарае живут, но они не поют. Папа их касатками называет.

Шурка впервые подумал: где стрижи живут, он знает. В обрывистом берегу Самарки, в норах. Там же гнездятся и шурки. Прошлым летом он обнаружил, что заливистый соловей – на самом деле маленькая серенькая птичка – устроил себе гнездо в куче котяков на задах, за сараем.

– Мам, мы увидим в это лето жаворонков? – не унимается Петя.

– Увидите, увидите, – успокаивает Катерина, – какие еще ваши годы. Вот подрастете, побольше будете под открытым небом, на вольном воздухе – и увидите. Жаворонки любят простор, широкое хлебное поле, много воздуха, только они там от радости звонко и неумоимо поют.

Любка громко и горестно заплакала:

– Моя птичка ко мне не прилетит!

– Почему? – спросила от печки мать.

– Я голову у нее съела, одна тулбище осталась.

Петя, глядя на сестренку, захохотал. Перестав смеяться, очень серьезно заверил:

– Вырастим мы и летом вырвемся на простор! Там жаворонков встретим! Колокольчики послушаем!

Транспорт

- Мать, а мать? – Василий выжидательно замолкает.
- Катерина, сидя напротив за столом, весело посмотрела на него:
- Придумал опять что-нибудь?
- Придумал, – не спеша отозвался тот и отчего-то очень крепко, ядрено крикнул.
- Баню строить?
- Нет, не баню.
- А что?
- Хочу сделать сбрую для нашей коровенки Жданки и рыдван – транспорт нужен в хозяйстве, понимаешь? А я только лежать могу ехать, значит нужен рыдван.
- Если что, можно лошадь взять в колхозе, у отца – Карего, председатель Шульга поможет, – робко возразила Катерина.
- Шульга теперь не поможет, – махнул рукой Василий.
- Почему же?
- Сняли его, не председатель теперь, другой будет.
- А другие что, не люди? – не сдавалась Катерина.
- Да нет, это не то. Просить надо, а они всегда заняты – лошади.
- Принараиваться надо. А тут сам себе хозяин. Уедем на целый день.
- Мне Жданку жалко, – всхлинула вдруг, как девочка, Шуркина мать.
- Это так для Шурки оказалось неожиданно, что он притих, наклонив голову над чашкой.
- Да не горюньтесь вы! Всю сбрую сделаю сам. Вместо хомута будет шорка, правда, потника нет, но можно из мешковины, рыдван раза в полтора будет меньше, колеса легкие, металлические, мне Григорий Зуев обещал раздобыть. Сено и дрова будем возить понемножку. Только в хорошую погоду.
- А вдруг молоко пропадет? – Шуркина мама горестно вздохнула.
- Будет раньше времени жалковать, не враги же мы себе.
- Мне и тебя, Василий, жалко!
- А что меня жалеть? Гляди!
- Он встал из-за стола, не тронув костыль, вышел на середину комнаты. Повторил:
- Глядите!
- Прошелся по всей комнате, сильно припадая и держа прямыми левую ногу и спину, подошел к подоконнику, зацепился за него правой рукой.
- Как-то очень весело оглянувшись, отчего у Шурки что-то натянулось внутри.
- Вот вам!
- И Шуркин отец, держа прямо спину и оттопырив резко в сторону левую ногу, медленно начал поджимать правую, пока она не согнулась наполовину. Он большим пальцем победно ткнул в пол.
- Видели?
- И не дожидаясь ответа, продолжал:
- Теперь любой гвоздь, любой инструмент могу поднять сам с пола!
- Мать подошла и ладонью вытерла отцу выступившие на лбу капли пота.
- Если потренируюсь еще, через пару недель смогу на правое колено вставать. А ходить без костылей – с бадиком. А это знаете, что значит? – И сам же ответил: – Это значит, я смогу пилить дрова, вообще работать на земле, на полу, а не только за верстаком, стоя.
- Он помолчал, потом обратился к сыну:
- Шурка, мы скоро будем косить, я уже продумал, как сделать косу для таких, как я, прямых. Это несложно!

– Не сложно, – эхом отозвалась мать, – а косить-то как?

– А как все, так и мы!

Он с утра говорил обо всем решительно.

Такой день у Василия Любаева.

Было море

Шуркин школьный учитель по труду Николай Кузьмич утверждает, что тут, где расположено село Утевка, было огромное море, и было это тысячи лет назад.

И верно, село лежит в низине, со всех сторон его окружают возвышенности, и Шурка верил своему учителю, ему нравилось, что живет он на дне давно исчезнувшего моря. Все становилось намного интереснее, значительнее, когда представишь бескрайнюю морскую гладь и одинокий парус в тумане. Получалось, что не обделено историей его село, и здесь, наверное, раньше происходили какие-нибудь исторические события. Или хотя бы пираты были...

И название села вроде бы произошло от слова «утки», которых, по преданию, было тьма. Шурка часто думал об этом, и у него получилось стихотворение, которое вроде бы он и не писал, а так как-то само собой вышло:

Кишели утки, было море —
Так к нам в преданиях дошло.
Моря исчезли, на просторе
Мое раскинулось село.
Но и опять же было море
Людских страданий и невзгод:
С людьми сроднившееся горе
Стояло вечно у ворот.

Шурка показал строчки дядьке Сереже, тот, прочитав их, прищурил левый глаз, словно приготовился выстрелить:

- Послушай, ты это не у Некрасова стянул, а?
- Да ты что, там же Утевка наша!
- Неужели сам?
- Сам.
- Ну ты, племян, даешь! Я вот тоже сочинял, забыл, где они у меня. О нашей Утевке:

Первый луч, пробиваясь сквозь дымку,
Побежал по воде, по кустам.
Осветил на Лещевом тропинку
И взметнулся опять к небесам.
Серебрится росой прохлада,
Полыхнула заря над водой,
И пастух деревенское стадо,
Матеряся, повел за собой.

– Называется оно «Утро в Утевке», а написал я его на второй день, как с армии пришел. Как?

Он очень серьезно посмотрел на Шурку.

– Здорово, только матерные слова мешаются.

– Вот, все чудачки и ты тоже. Их же здесь нет. Это же правда, все как на самом деле. В жизни матюги есть? Есть. А в стихах моих нет!

– Как же нет, они сразу вспоминаются, когда строчку произносишь.

Сергея обрадовался:

– В этом и фокус, понимаешь? Зато образ сразу встает, правда. Я об этом уже думал и читал – образ нужен. Валентина Яковлевна, когда я ей в клубе показал на репетиции ихней такие сихи, хохотала громко. А потом сказала, что во мне крепкий разбойник сидит и впереди у меня большая дорога. Только учиться надо.

Он доверительно посмотрел на Шурку:

– У меня в армии накопилось стихов целая общая тетрадь, и я не знаю, что с ними делать. А знаешь, матом легче писать, как по маслу идет, легко и даже красиво. И все на своем месте. У меня столько частушек таких... Если бы я со сцены пропел, околели бы все враз. Я их храню ото всех как динамит, вдруг пригодятся шарахнуть от души по скукотище!

Шурка был в смятении. Душа в искусстве искала высокое, а тут Сережкины рассуждения, его горячее дыхание, озорство, которое само по себе имело какую-то необъяснимую прелесть и которое часто сопровождало дядьку.

Сережа был красив, красив в любой одежде: грязной, новой, старой. В телогрейке на голое тело, без рубахи, он выглядел так, что люди, оборачиваясь, смотрели ему вслед.

Шурке вспомнилась странная фраза, сказанная дедушкой так, как это умел делать только он один – вроде бы самому себе, но чтобы и окружающие слышали: «Дьявол, красивый! Но мой сын».

Шурке были непонятны слова дедушки, но от этого не было беспокойства, наоборот: раз дедушка все видит, значит всему свой черед. Подобное уже не раз было. Все встанет на свои места.

Верочка Рогожинская

Ее привела на репетицию сама Валентина Яковлевна.

– Вот вам пани Рогожинская, – сказала она.

Потом энергично тряхнула своей кудрявой головой:

– А то у нас пан Ковальский есть, а пани не было. Теперь будет, – сказала, словно поставили точку.

Шурка узнал новенькую, она из параллельного шестого «б» класса. Ее родители – врачи, недавно приехали работать в районную больницу из города. Он ее видел два раза в школе и один раз в библиотеке. Его поразило в ней все. Но самое главное то, как она на него посмотрела: в упор открытыми глазами, доверчиво, как будто они давно знакомы.

– Все! Я давно хотела поставить «Барышню-крестьянку», но некому было играть Лизу, вот теперь, слава Богу, есть! Молодого Берестова, Алексея, будешь играть ты, Ковальский, ну, Муромского отдадим Игольникову, Ивана Петровича Берестова – Петьке Демину, с остальными разберемся.

– Я никогда не играла в драмкружке, – простодушно сказала Верочка, – вовсе и не смогу, тем более классику.

Она зажмурила свои глаза и как-то очень долго подержала их закрытыми, потом распахнула ресницы и будто увидела всех впервые:

– И вообще я боюсь, – без всякого кривлянья просто сказала она.

Петька Демин хохотнул, но, увидев строгий взгляд Валентины Яковлевны, спрятался за спину Лешки Игольникова.

– А вот и хорошо, что боишься. Наши-то уже ничего не боятся, в этом все и дело! Вот вам слова, быстренько переписывайте и учите, на следующей неделе начнем репетицию. Возьмите повесть Пушкина – почитайте. Я проверю.

Вышли на улицу, и получилось так, что Шурке и Верочке по пути – обоим надо в библиотеку.

– А что вы берете читать? – спросила Шуркина спутница.

– А что дадут.

– Как это?

– Все, что положено, я уже прочитал, теперь – что положено старшеклассникам.

– А «Королеву Марго» читали? – спросила она. – У вас тут есть такие книги?

Шурка давно уже прочел всего Дюма, но он не стал говорить ей об этом, ему не хотелось, чтобы она подумала, будто он хвастлив.

– Да, – сказал он.

– А можно нескромный вопрос?

– Можно, – охотно сказал он.

– А почему у тебя фамилия нездешняя?

Она легко так перешла на «ты».

– И у тебя тоже, – сказал он.

– Я – это другое дело.

– Какое другое?

– Я приезжая, а ты?

– Я здесь родился, разве это плохо?

– Нет, – сказала она и немножко помолчала, – я о другом. Ну, не хочешь об этом, не говори.

Она еще раз посмотрела на него в упор, внезапно засмеялась и сказала, скорее, видимо, для того, чтобы только не молчать, так ему показалось:

- Мне сказали, что ты круглый отличник, да?
 - Да.
 - Но отличников везде не любят, так ведь и у вас в школе?
 - У нас по всякому, я тоже отличников не люблю.
 - А сам?
 - У меня просто так получается, я не умею зубрить.
- Она посмотрела на него внимательно:
- Воображаешь?
 - Нет, – сказал Шурка, и ему стало неловко.

Получалось все-таки, что он хвастался для чего-то, а ему этого и не надо было. Ему просто хотелось с ней говорить, ему нравилось, как она смотрела не стесняясь и как улыбалась сама себе.

Когда пришли в библиотеку, он намеренно отошел от Верочки к дальней полке. Ему не хотелось, чтобы кто-то видел, как она на него смотрит. Он был уверен: так смотрит она только на него.

Чужаки

В окрестностях Утевки, Зуевки, Кулешовки обнаружили нефть. Заработали несколько скважин. Поползли слухи, что на месте Утевки или вблизи будут строить город нефтяников.

– Беда-то какая, – крестилась Шуркина бабушка на образа.

– Будет тебе, никакой беды, – успокаивал ее Федор Остроухов.

– Народу нагонят, вот и беда. Где в одном месте народу много, тесно, там завсегда беспорядок, – не сдавалась та. – Избу не закрывала на замок, теперь – надо будет.

...Она оказалась и на этот раз права.

Расположившиеся в поселке Ветлянка молодые бойкие нефтяники стали наезжать в Утевку по вечерам на танцы. Часто это кончалось дракой. Свидетелем одной такой схватки оказался и Шурка. Он выходил после репетиции из клуба и увидел, как красивый, спортивного вида парень спокойно стоит у крыльца и курит. Это был чужак. Он миролюбиво поглядывал на проходивших, и весь его вид показывал, что он не желает никому зла. Не тут-то было. Невесть откуда появился маленький верткий Гнедыш и, резко подпрыгнув, сорвал с незнакомца модную фуражку, тут же, ловко держа ее за козырек, сильно запустил над головой, и она, описав большую дугу, улетела за дровяной сарай. Чужак не побежал за ней. Он резко шагнул в сторону налетчика и наступил ему на ступню, тот, пытаясь вывернуться, тащил ногу к себе.

– Принесешь кепку – отпущу, – сказал чужак.

– Больно, пусти! – неестественно громко закричал Гнедыш.

И это прозвучало как сигнал. Из-за дровяного склада вышло больше двух десятков сельских ребят, вооруженных кольями. Они выстроились в два ряда, образовав узкий коридор, куда должны были попасть все, кто выходил из клуба. В подготовленном сценарии было все предусмотрено.

Танцы закончились, народ хлынул, и приезжие оказались встреченными во всеоружии. Но не тут-то было. Чужаки были опытными бойцами. Прямо у входа в клуб начинался деревянный забор из штакетника длиной метров тридцать. Через считанные минуты этого забора не было; мгновенно оценив ситуацию, чужаки метнулись к нему – штакетницы оказались в ловких и крепких руках. Рукопашная, сопровождаемая треском деревянного оружия и резкими криками, развернулась вначале у клуба, затем нефтяники стали отступать по улице к своему автобусу, но без паники и как-то, удивительно для Шурки, организованно. Похоже было, что они оборонялись так не впервые...

Три последующих дня угрюмый Коньич со своим сыном восстанавливали ограду.

– Они девок делят, а я без работы не буду, – говорил он.

Эта история имела свое продолжение. Шурку мать послала за постным маслом в магазин. На дворе стояла теплынь. Была пасха. В проулке, около Ваньковых, взрослые ребята играли в орлянку, туда Шурка не стал заходить. Посмотрел со стороны на нарядную пеструю толпу и пошел дальше. Не то чтобы ему было неинтересно, просто он торопился. Но вот мимо двора Ракчеевых пройти не мог. Этот двор, весь освещенный солнцем, сухой и приветливый, встретил Шурку разногласицей большой ватаги ребятишек и парней.

Около старой травокоски, вросшей колесами в землю, на ровной площадке стояли три гири. Валерка Салтыня, сняв белую рубашку, подошел к самой большой – в два пуда. Поплевал на ладони. Не спеша поиграв растопыренными пальцами, он резко рванул железное чудовище на себя, и гиря оказалась у него на плече. И тут произошло самое главное: выбросив левую руку горизонтально в бок, правой Салтыня не спеша, монотонно и спокойно, как какая-то очень крепкая машина, выжал вес подряд пять раз. Все ахнули.

Шурке захотелось подойти и попробовать поднять полупудовую гирю, но он почему-то медлил. Его опередил Мишка Лашманкин. Он взял «полпудник», подкинул вверх, и ловко крутанув, на лету поймал за ручку.

Шурка опешил. Он не ожидал от Мишки такой ловкости и уверенности.

На другом краю двора свой интерес. Здесь чокались: крашеными луковой шелухой или чернилами пасхальными яйцами играли в азартную игру. Били тупым или острым, как сговорились, концом яйца соперника. Если твое целое – ты выиграл.

Тут-то Шурка и пожалел, что не захватил с собой из дома писанку – крашеное на особинку яйцо. На него бы он точно выменял три, а может, и больше, яйца, на выбор. И сыграл бы.

У всех обычные пасхальные яйца: крашенки. А писанки готовили по-иному: прежде чем яйцо опускать в чернильный или луковый раствор, его причудливо расписывали воском на свой вкус и лад. Для этого пользовались гусиным пером. Обрезав самый кончик, набирали в перо плавленный горячий воск и быстро выдавливали на яйцо. Воск застывал. Яйцо с рисунком бросали в красящий раствор, когда воск исчезал – на его месте на скорлупе возникал рисунок. Такое пасхальное яйцо ценилось вдвойне.

Только Шурка решился раздобыть яйцо, чтобы попробовать сыграть, как во двор вошел Валька Рязанов. Шурка тронул его за рукав:

– Валь, ты что так вырядился? – и показал пальцем на темно-синие галифе, в которых был его приятель. – Помереть же можно со смеху, все в шароварах уже, тепло как!

– Пойдем в огород, за сарай, объясню.

Когда они зашли за укрытие, Валька запустил руку в штанину и вынул огромный старинный револьвер.

– Во, смотри!

– Вот это да! – только и выдохнул Шурка, – откуда это у тебя?

– Понимаешь, дед умер в прошлом году, он когда-то богатым был, пряжи делал, всякие вещи из дерева, даже деревянный велосипед, а в этом году стали печь ломать, разобрали когда, я смотрю – тайник в стене в подполе, ткнулся: ящик со старыми деньгами и вот он.

– Что же теперь с ним делать?

– Не знаю, поносить охота с собой. У него пружина очень тугая или заржавела, я не осиливаю курок одним пальцем спускать. Надо разбирать и смазывать.

Шурка смотрел на покрашенный светлой краской с костяной ручкой наган и не мог отвести глаз. Вид настоящего, может, уже бывшего когда-то в деле оружия завораживал.

– Сань, может быть, из такого в Пушкина стрелял Дантес, а?

– Отец знает про пистолет? – побеспокоился Шурка.

– Нет, я только деньги всем показал.

– А патроны?

– Вот! – И Валька протянул на ладони пять патронов.

Шурка взял один. Гильза была длиной сантиметра два, сама пуля, неприятно тупорылая, оказалась короткой – всего в один сантиметр.

– Тяжелое все какое, – подытожил Шурка.

– Вот поэтому я не в шароварах, а в галифе. Шаровары спадают от него, резинка не держит. У меня Генка Афанасьев очень его просит.

– Зачем? – удивился Шурка.

– Да, говорит, попугать, когда надо, чужаков с Ветлянки, а то везде свои порядки устраивают.

– Эх, – спохватился Шурка, – меня же мама в магазин послала.

– Ну иди, – деловито сказал Валька, – потом обсудим, как быть.

За воротами, около палисадника, Шурка увидел Димку Чураева. Вывернув оба кармана брюк, он стоял на солнышке, похожий в этой позе на странную птицу.

– Дим, ты чего? – удивился Шурка.

– Да, дурак Антон со своими дружками, я их обыграл: накокал больше десятка, все их крашенки у меня в карманах были, а они догнали, когда уходил, и хлопнули по ним с обеих сторон, а там всмятку были какие, одно яйцо-болтун. Кишьмишь устроили, сохну теперь.

Он шмыгнул носом и безбоязненно пообещал:

– Я им казнь придумал. Попомнят у меня!

...Шурка уже купил масло, когда вошли трое приезжих ребят, и в первом из них он узнал того красивого, спортивного чужака, на которого налетел Гнедыш.

– Толик, – обращаясь к нему, сказал тот, что шел за ним, – давай побыстрее, а то нас тут заловят, по-моему, я одного видел из тех.

– Да сейчас «Беломор» купим и едем, ладно гиль нести.

Направляясь в книжный магазин, Шурка увидел Генку Афанасьева, который в прошлой стычке у клуба возглавлял нападающих. Тот метнулся в сторону мастерских.

«Он их засек, – отметил Шурка, – что же будет, этот Генка настырный».

...Когда Шурка вышел из книжного, все уже свершилось. Генка Афанасьев лежал на весенней земле. Из его левого виска сочилась кровь. Он был мертв.

Стоявшая у пивного киоска Пупчиха, всхлипывая, говорила:

– Наши-то, дураки, впятером окружили их и давай воротники на рубашках им рвать, а Толик-то ихний, мне все слышать из окошка, и говорит: «Что, слабо один на один, впятером либо всей деревней только смелые, да?» Так вот они подергались и решили по-честному. Один на один. Толик и Афанасьев, значит. Афанасьев первый ударил, да так, что энтот самый Толик загнулся крючком весь. А потом вдруг, и непонятно мне как, красавчик этот мотнул рукой – и наш на земле на карачках, то ли споткнулся, то ли как. В горячках Толик ударил его ногой и попал сапогом прямо в висок. Нет Генки теперь.

Прибежал милиционер Вася Берлин, за ним появились еще два молодых незнакомых сержанта. Никто из участников стычки и не собирался убегать. Всех потрясла неожиданная смерть.

Толик сидел на пороге магазина, обхватив голову руками. Пальцы рук его вцепились в лихой черный чуб.

Пупчиха плакала. Не стирая слез с красных пухлых щек, проговорила нараспев, глотая слова:

– Обо-иих ведь жа-ал-ка, оба ду-раки. Одно-му-у-то все едина теперича, а эттому Толику вся жизнь как в про-оо-пасть, а...а... тюрьма...

...Вскоре в Утевке начали поговаривать, что первый секретарь райкома Бурцев сильно против того, чтобы город нефтяников строили около села, он опасался и за село, и за Самарку, поэтому вроде бы идут споры. А потом разнеслась новая весть: знаменитый начальник нефтяников Муравленко, которого никто в селе никогда не видел, поддержал Бурцева, и решено город, название которого будет Нефтегорск, строить в степи, около поселка Ветлянка, далеко от Утевки.

– Слава тебе, Господи, – отозвалась на это бабка Груня. – Бог миловал!

И перекрестилась.

В Лаптаевом переулке

Только-только Шурка пришел из школы, хлопнула калитка, и вошел Андрей Плаксин:

– Шурк, в лапту пойдем играть?

– Ага, а кто будет?

– Да Чугунок, Микляй, Валька Бесперстова, еще там пацаны наши.

Всех соберем, кого надо.

Едва появлялись долгожданные подсыхающие поляны, ребяtnю неудержимо тянуло в Лаптаев переулок играть в разные игры.

Климановых, хозяев крайнего дома в переулке, давно уже никто не знал, с коих пор звали по-уличному – Лаптаевы. Их пятистенник, открытый окошками с резными ставнями на большую поляну, – давний свидетель ребячьих забав. Частенько стайка ребятишек прибивалась к Лаптаеву палисаднику и гомонила там в своих заботах. В такие моменты дядя Коля степенно выходил из дому, неспешно и незлобно кшикал как на кур, отгоняя их вновь на поляну.

– А я сегодня хотел доделать свою клюшку, – спохватился Шурка.

– Новый чекмарь? – спросил Андрей.

Ему больше нравилось такое название клюшки.

– Конечно, вчера с дедом были на Подстепном, там знаешь, где большая поляна чилиги, их полно, я и вырезал две чекмары.

– Вязовые вырезал? – деловито переспросил Андрей.

– Нет, из некленика.

– Покажи, а?

Шурка пошел в сени и вынес полутораметровой длины палку, прихотливо изогнутую снизу. Эта изогнутая палка и была всегда предметом зависти всякого игрока, ибо она служила для того, чтобы гонять по траве или по льду шашку – кусок крепкого дерева или другого материала, часто консервную банку.

У Андрея загорелись глаза:

– Эх ты, а я еще не успел себе вырезать. Давай завтра сходим вместе, давай?

– На, это тебе, – Шурка протянул клюшку Андрею.

– Ты что, Шурк, – выдохнул тот, – да у меня такой сроду не было, вообще такой удобной чекмары я ни разу не видел ни у кого.

Он ошалело крутил в руках подарок.

– Ты же себе это сделал?

Шурка молча пошел вновь в сени и вернулся с палкой, похожей на ту, что он отдал приятелю.

– Это будет моя.

Андрей был сражен.

– Эх ты, – сказал он. И эта емкая фраза вобрала в себя все: и восхищение, и благодарность, и многое-многое другое, что Андрей, очевидно, чувствовал, но не имел понятия, как это все называется. И зачем ему это знать?

Вот есть друг, есть теплый весенний воздух, пахнувший талой водой, подогретой ласковым солнцем, землей, кое-где уже пробитой зеленью и есть еще после школы целая половина дня.

На Андрея напала жажда деятельности.

– Давай все для чекмары сделаем, а завтра сыграем.

– Давай, – согласился Шурка, – и начнем с шашек.

Шурка сбегал на зады, принес крепкий, толщиной в руку, обрубок татарского клена, и они поперечной пилой отпилили три шашки. Андрей тут же во дворе попробовал шашку и клюшку в деле, погнав по земле, а затем с силой запустив шашкой в деревянные ворота. После

этого он остался очень довольным. Яркий, с вельможной походкой соседский петух после удара Андрея панически, растеряв всю свою величавость, совсем по-дворовому, перескочил через плетень и был таков.

– Правильно, нечего на чужом дворе делать, совсем задолбил нашего, – подытожил Шурка.

Вооружившись лопатой, они пошли на Лаптаеву поляну. Поляна была уже почти сухая и прогретая. Только у плетней, у кучи березовых бревен лежал ноздреватый снег, покрытый сверху толстым слоем грязи.

Они быстро отыскивали ровное местечко, и Андрей начал копать центровую лунку – котел величиной не более обычного ведра. Затем надо было ровно по кругу расположить пять-шесть лунок.

Андрей присел на корточки в котле и, выставив перед собой на вытянутых руках чекмарь, скомандовал:

– Крути!

Придерживая конец выставленной клюшки, Шурка прошелся по кругу, оставляя за собой протоптанную дорожку в прогретой майским солнцем земле.

По этой окружности они и выкопали немного поменьше, чем центральный котел, шесть лунок.

Игра в чекмару состояла в следующем. Игроки, каждый из которых вооружен клюшкой, занимали по лунке. Игроков должно быть на одного больше, нежели количество лунок, не считая котла. Цель игрока, остающегося, после того, как поконаются без лунки, занять ее. Он начинал «маяться»: пытался клюшкой послать шашку в котел. Если она достигала цели, то игроки должны были мгновенно меняться лунками (конец клюшки-чекмары должен был торчать в лунке). При этом захвате лунок тот, кто «маялся», мог занять себе лунку, естественно, кто-то оставался без нее и оказывался в роли «маящегося». Сложность была в том, что стоявшие по кругу игроки отбивали шашку как можно дальше от круга, не подпуская к котлу, и за ней приходилось далеко бегать. И хитрость в том, что ловкий игрок, который «маялся», мог просто, без попадания в котел, занять лунку. Это случалось тогда, когда он, лавируя корпусом и ведя шашку к «котлу», вынуждал одного из игроков замахиваться клюшкой, и в это время оставшуюся без хозяина лунку мгновенно занимал сам, ткнув туда свою чекмару.

Андрей приплясывая утоптал игровой круг, взял клюшку, ловко пульнул шашку в котел и остался доволен:

– Чугунка до слез замаем завтра!

Шурка представил, как будет «маяться» хитрый, находчивый Чугунок, которого с четвертого класса зовут так потому, что он в тетрадке нарочно, для смеха, написал вместо «чугун» – «чгун», а вместо «кастрюля» – «кастура», и ему стало заранее весело.

«Чугунок ведь не заплачет, а, наоборот, всех насмешит только», – хотел сказать Шурка, но почему-то промолчал. Наверное, от того, что не хотелось возражать деловому Андрею.

Под синей юбочкой

Саман решили делать на выгоне, за колхозным общим двором. Дядя Федя Остроухов, копнув раза три лопатой, долго и серьезно рассматривал серенькие кусочки земли на ладони, а Шуркин дедушка сказал:

- Чего ее изучать-то, вон сколько вокруг изб, уж который год стоят. Мерекаешь попусту.
- Оно, конечно, может, и так, но все-таки... – держал свой фасон Остроухов.

Едва вскрыли круг, приехал верхом на колхозном знакомом мерине дядька Сергей и привел с собой еще одну буланую кобылу. Их пустили мять эту большую лепешку.

Воду возили из Приказного.

На трех подводах Шурка, Андрей и Валька Рязанов с грохотом порожняком мчались к озеру и лихо въезжали в воду, а там веселая Аксютка и еще незнакомая одна девка, войдя по колени в воду прямо в платьях, под июньским ласковым солнцем наливали ее в бочки. Перед тем как выезжать из воды на берег, Шурка накрывал мокрой мешковиной горловину бочки, чтобы вода не плескалась. И каждый раз ему чудно было глядеть, как в бочке глупо смотрели на него крупные головастики.

А на выгоне шла своя работа. Как только Шурка подъезжал с водой, мужики вагой разворачивали бочку, и через несколько минут можно было опять мчаться к озеру.

В одну из поездок с Шуркой случилась авария. На самом конце улицы, когда он гнал рысью Карего, около палисадника из-под лавочки ветром выдуло газету, и она, разворачиваясь, поползла к дороге. Это все увидел Шурка стоя сзади бочки, левой рукой держась за отверстие в ней, чтобы она, пустая, не играла на дрожках.

В следующее мгновение, скосив дико правым глазом на газету, которая большим белым чудищем, похожим на черепаху, двигалась на него, Карий прыгнул резко влево. Шурку вместе с бочкой снесло в сторону газеты на землю. Бочка, громыхая, покатилась к палисаднику, а Шурка упал рядом со злополучной газетой. Какое-то мгновение был провал в сознании. Когда же резко вскочил на ноги, их как будто не было, и он вновь оказался на земле. «Ноги отнялись», – со страхом пронеслось в голове. Карий стоял метрах в двадцати и смотрел на него. Шуркина левая рука лежала на газете, он провел ею по странице, она выпрямилась, и он прочел: «Волжская коммуна». «Деда всегда ее читает», – подумал он и вяло перевернулся с живота на бок.

А к нему уже бежали люди. Помогли подняться, посадили на лавку. Пока подводили Карего, водружали бочку на дрожки, с Шуркой все прошло. Он встал с лавки, оттолкнулся от ограды и пошел к повозке.

- Матери скажи, что ушибся, ездук, – сказала ему вслед хозяйка дома.
- Ладно, – неопределенно отозвался Шурка погоняя Карего.

Въезжая в воду, к ожидавшим его девкам, он уже не думал о случившемся.

Саман смяли и начали выкладывать станки чуть поодаль на ровном месте. На жести волоком подтаскивали раствор и заполняли большие формовочные станки, уминали ногами. Затем их поднимали, а кирпичи оставляли сохнуть.

...На второй день помочей вечером все, кто помогал, гуляли у Любаевых во дворе. Шурку посадили наравне со всеми за стол на лавку, вернее – на доску, положенную концами на табуретки. Мать суетилась с закуской.

Пили «Под синей юбочкой» – так называли денатурат за его цвет.

Его пили и женщины. Самогонки не было – боялись гнать. Остроухову принесли гармонь, а у Василия Любаева – балалайка. Они сели в торце длинного стола на виду у всех.

После того, как выпили, заиграли подгорную. Задвигали лавками-досками. Дошла очередь и до Аксюты Васяевой. Она выплыла в круг и неожиданно красивым, сильным голосом озорно пропела:

Повели меня на суд,
А я вся трясуся.
Присудили сто яиц,
А я не несуся!

– Вот баба, – сказал восхищенно захмелевший старый дед Проняй, – кого хочешь в косые лапти обует.

– Да ладно, она, по-моему, еще не перебабилась, – непонятно возразил его сосед.

Шурка невольно слышит весь разговор.

– Ловко она про яйца, – тянул свое Проняй, – моя тоже еще только двадцать штук сдала, молока тридцать литров еще надо сдать. А где брать-то? Дела...

– Где, где, – возражал сосед – дальний родственник Синегубого, – вон Шуркина мать выкручивается, Василий подшивает валенки, а она покупает масло, молоко и сдает. Шурка, тебе мать когда-нибудь масло мазала на хлеб?

– Нет, – сказал Шурка, – у нас масла не бывает, молоко съедаем.

– Вот видишь, откель масло брать, с моими глазами только валенки и подшивать, – не сдавался Проняй.

Шурка, глядя на пляшущих в кругу, думал: «И почему все люди делятся на русских, украинцев, поляков, турок и других? Нельзя ли так, чтобы все были одинаковой национальности? Все были бы равными. Все бы веселились как сейчас». Об этом он сказал дядьке Сереже.

– Ага, – подхватил Серега, – и все одного цвета бы: негры, цыгане, папуасы, англичане – все белые, нет, все черненькие, ага? И все на одно лицо. Мировая скукота.

– Да ну тебя, я серьезно.

Запели «Катюшу». Шурке подумалось, что эта песня про его мать.

Только в жизни все сложнее и тяжелее, чем в этой красивой песне. Для того и песня, чтобы легче жилось.

Шуркина мать, Катерина, когда пели эту песню, никогда не подпевала, всегда только слушала глядя кротко и ясно перед собой.

...На Шурку навалилась вялость. До этого начало звенеть в голове, хотя, разумеется, он не пил спиртного. Он встал и пошел спать к деду в мазанку. Мать только и успела сказать вслед:

– Шура, ночевать приходи домой.

– Ладно, мам.

А Аксютя все веселилась: «За мной мальчик не гонись – у меня есть другой», – слышался ее разудалый говорок.

...Шурка проснулся и сразу понял, что уже поздно: в маленьком оконце мазанки света не было. Он вспомнил, что обещал ночевать дома и заторопился. В избе деда – все уже спали. Со стороны клуба, который находился метрах в двухстах, доносилась музыка. «Раз танцы не кончились, значит двенадцати нет», – определил Шурка. Легонько стукнув калиткой, он пошел по задам – так короче, метров триста. Шурка не прошел и половину пути, ноги подкосились, как тогда, днем, после падения с дрожек.

Вначале он ничего не понял, сгоряча попытался вскочить, но вновь оказался на пыльной дорожке. Обожгла мысль: «Кто-нибудь поедет и задавит, как кутенка. Надо отползти в сторону». Отполз ближе к плетню, и тогда только ужаснулся: а если это навсегда? Мать умрет с горя, ей и с отцом нелегко: она его каждый день обувает и брюки помогает надевать – он сам не может. Правда, в последнее время брюки он научился надевать сам: бросает их на пол,

бадиком подшвыривает штанину на прямую левую ногу, крючком за пояс подтягивает вверх, а уж потом становится на прямую левую, а правая у него действует как у всех.

«Карий, Карий, какой же ты дурак!» – с горечью подумал Шурка.

Под локтем оказалась какая-то кучка травы, он подмял ее под себя, стало удобнее. Боли почти не было, только жгло ушибленный локоть, где слезла кожа, и саднило в пояснице, но терпимо. Он повернулся на спину. Широко распахнувшись, на него смотрело небо. Звезды, крупные и мелкие, рассыпавшись во все стороны, светились ясно. Под этим бездонным взглядом он не почувствовал себя маленьким и убогим, а принял чистый теплый взгляд и удивился тому, как стало ему вдруг спокойно, а возросшая уверенность в себе уже толкала его что-то делать энергичное и нужное.

«Неужели там, над нами, действительно кто-то есть, раз так происходит все во мне, но о чем никому не расскажешь?..»

Шурка лежал под открытым небом. Большая Медведица, чудно наклонив свой ковш, висела как на большом гвозде.

Он почувствовал, как сильно всех любит: маму, бабушку, деда... обоих своих отцов, который есть и которого он никогда не видел, вообще все вокруг.

Замелькали летучие мыши. Пролетела, таинственно прошелестев крыльями, сова.

«Танцы кончатся, ребята направятся домой, может, кто пойдет задами и меня заметят».

В куче бревен, когда он заглянул за большой березовый комель, замерцало расплывчатое пятно. «Гнилушки светятся», – отметил про себя Шурка. Он знал, что как ни попробуй гнилушку на ладони, в кулаке, она светит, но не греет. Но сейчас ему казалось, что это светлое пятно из гнилушек, так же как и далекие звезды, гонит к нему теплый и ласковый поток. Шурка еще больше успокоился. Он вспомнил, как однажды бабушка Груня сказала ему: «Все мы под Богом ходим. За твоей спиной ангел большекрылый. Если ты будешь стараться делать добрые дела, он тебя не оставит в беде. Он твоя опора».

Шурка тогда не удивился словам бабушки. Он и вправду иногда очень сильно чувствовал огромную добрую силу, идущую издалека к нему. Чаще всего это случалось, когда он был один под открытым небом: в поле, в небольшом лесу, на Самарке у воды. Но это шло, как ему казалось, не от неба, это было земное. Сила шла, как он однажды подумал и удивился своей догадке, – от отца Станислава, из его далекого далека. Свет поддержки и надежды шел незримо, но властно и побеждающе. Он так себя заставил думать или это так оно и было – уже нельзя определить. Но это не был самообман. Может быть, это – врожденная жажда жизни? Ему сейчас показалось, что этот луч поддержки накрепко соединяет его с отцом. «Но ведь земля круглая, значит луч от Варшавы до Утевки, до меня, должен быть в виде дуги, – подумал он и спохватился. – Почему я думаю так, это же, наверное, бред у меня начался, и я теряю сознание. Так ведь не думают».

Музыка прекратилась. Через некоторое время послышались громкие голоса на улице, но все проходили мимо. По задам никто не шел. Кричать, звать о помощи Шурке было стыдно и он, перевалившись через левый бок на живот, пополз. Оставалось до дома метров тридцать, когда впереди замелькал слабый огонек. «Кто-то с фонариком идет», – догадался Шурка.

– Эй, – негромко позвал он.

Невысокого роста человек остановился.

– Кто там?

Перед Шуркой стоял Мишка Лашманкин, его давний неприятель.

– Коваль, что с тобой? Ты пьяный, что ли, – хохотнул было Мишка.

– С ногами что-то.

Лашманкин подошел ближе.

– Ты же весь в пыли, ты что?

– Говорю: ноги отнялись.

Мишка перевернул Шурку на спину, взял под мышки и подтянул к плетню.

– Ты как на задах в эту пору оказался? – спросил Шурка.

– Да это, лампочка увеличителя перегорела. Мы с братаном фотки печатаем, ну я бегал к дядьке, на обратном пути, дай думаю, срежу путь. Я попробую тебя понести. Вот шалыга какая!

Кое-как приподняв Шурку у плетня, он подлез под него и, взвалив на спину, покачиваясь понес.

– Меня давай в наш сарай.

– Ты что, а мать, она заругает же тебя.

– Да нет, – проговорил Шурка, – она думает, что я у деда.

– А может, в больницу?

– Не надо, днем так же было, потом отпустило. Отосплюсь – все пройдет.

– Эх ты, а вдруг нет? – засомневался Мишка.

– Давай в сарай!

Когда Шурка улегся на спину на кучке свежей травы, он сказал:

– Мать встанет корову сгонять в стадо в четыре утра, она меня и обнаружит. Если все нормально, то – порядок. Если не обнаружит, ты придешь в шесть часов ко мне. Проснешься?

– Проснусь, – заверил Мишка.

Шурка спал глубоко, без сновидений и проснулся в восемь часов.

Едва открыл глаза, увидел Мишку сидящим около на старом тазике.

– Ты чего сидишь?

– Будить тебя жалко.

Шурка поднялся и, как будто ничего не было, спокойно прошелся.

– Молодец, – обрадовался Мишка, – а то я вчера испугался.

– Я тоже, – признался Шурка.

У Лопушного озера

– Завтра Жданку не гоняй в стадо, – сказал вечером Катерине Василий, – поедem в Угол косить траву.

– Ладно, – покорно согласилась мать Шурки.

Она уже поняла: спорить бесполезно. Прошел месяц после того, первого разговора, когда было решено делать упряжь для коровы. И вот все готово: легонькая рыдванка с железными колесами, с проволочными реденькими ребрами вместо деревянных, стоит посреди двора. Готова и шорка вместо хомута, легкая оброть и все остальное.

Отец вывел с денника Жданку и стал подводить ее к рыдвану, корова долго не понимала, что от нее хотят, смотрела своими большими темными красивыми глазами и недоумевала.

Наконец-то шорка на шее, тонкая самодельная веревка вместо вожжей привязана.

– Ну-ка, Шурка, отворяй ворота.

И уж было совсем все пошло как надо, да мать Шурки немного подпортила момент:

– Вась, а если она обидится и перестанет молоко давать?

– А куда она денется?

– Ну пропадет молоко, так бывает!

– Опять ты за свое!

Катерина отошла в сторону. Потом вновь приблизилась и виновато попросила:

– Вась, ты на нее не кричи, ладно, если что не так.

– Катя, я ж обещал тебе. – Отец повел Жданку со двора.

Он явно бодрился.

Рыдванка на удивление пошла ходко, тем более выезд на улицу был под горку, и лицо Василия осветилось радостной улыбкой. Смазанные обильно дегтем новенькие оси и колеса хотя и поскрипывали, но как-то влад и бодро. Шурка немного успокоился и за Жданку, и за мать.

У ворот отец положил в рыдванку старую фуфайку, чтобы можно было лежать, привязал косу, и они отправились в путь. Лагунок с дегтем, как маятник, закачался на задке рыдвана. Договорились, что садиться никто не будет, только отец, когда совсем устанет, ляжет в рыдван – сидеть ему никак нельзя.

Мать даже сумку с едой не положила:

– Вась, сама понесу, ей-богу, не тяжело.

Шурка приготовился подталкивать повозку сзади, но так, чтобы не увидел отец.

Он знал дорогу не Лопушное до каждого поворота, до каждой кочки.

Шагая за повозкой, Шурка пояснял:

– Мам, нам надо проехать туда почти три километра. Не бойся – половина дороги жесткая и под уклон, и только за мостом начнется песок.

– Я и не боюсь.

– А можно не по дороге, не по песку ехать, а по траве, вдоль, – говорил Шурка.

– Так и сделаем, но я опасуюсь другого.

– Чего, мам?

– Корова страшно боится шершней. Слепни еще так-сяк, а шершни... С ней сразу могут случиться бызики, бзик. Что тогда делать? Бздырит, не остановишь.

– А что? – не поняв, переспросил Шурка.

– Может либо рыдванку с отцом разнести, либо себе что поломать.

Повозка двигалась медленно, отцу было трудно идти, но он не садился. Прямая нога его почти волочилась. А Шурка шел легко. На его босые ноги были надеты сандайки, которые ему сделал дедушка прямо при нем три дня назад. Он взял Шуркину ногу, приставил к ступне

колодку, померил и тут же кривым сапожным ножом на пороге вырезал из куска толстой кожи две подошвы.

По шаблону выкроил верх из кожи потоньше и сыромятным узким ремешком все прошил. Получилась желтая ровная окантовка. Потом пошарил в своем удивительном ящике, где всегда все находилось, что нужно, и извлек оттуда, как волшебник, две красивые металлические застёжки.

– Тебе берег, нравятся?

– Конечно, лучше не бывает, – радовался Шурка.

Дедушка хотел еще натереть сандальки ваксой, но Шурка отказался:

«Потом, деда!» Обувка получилась легкая, мягкая, и теперь, шагая по нагретой летним солнцем дороге, увязая по щиколотки в горячей серой пыли, он не знал забот: дедушкиными умными руками вверху сандалий и по бокам были сделаны дырочки, и пыль не задерживалась в них.

За мостом съехали благополучно с горы. Отец лег в рыдван. На удивление Жданка не воспротивилась этому. Она только вначале не поняла, как идти: Василий стал управлять вожжами.

Мать, взяв за оброть, все поправила и пошла рядом.

Шурка шел сзади один. Они приблизились к Самарке, и песчаная дорога утяжелила ход повозки. Металлические колеса, за которыми ревностно следил Шурка, когда рыдван съезжал с обочины на песок, вязли. Шурка, упираясь в заднюю стойку, что есть мочи толкал повозку.

Остро пахло прокаленным солнцем песком, в воздухе, казалось, не было ни единого движения, которое хоть как-нибудь бы пригнало прохладу. И только знакомые осины, стоявшие на обочине, шевелили своими чуткими листочками.

Шурка знал, что надо потерпеть: еще один поворот – и дорога изменится. Это случится сразу за сухим вязом, в дупле которого живет, об этом знает только Шурка, удод, а по-простому – петушок. Такой смешной, забавный и неторопливый лесной житель. А напротив вяза, на полянке, – большой ровный круг зарослей шиповника. Здесь Шурка иногда прячет всякую всячину, чтобы лишний раз не таскать домой: удочки, банки с червями, весло. Никому и в голову не придет лезть в такую чащобу.

...Наконец-то дорога нырнула в заросли черемухи, крушины и нектенника. Стало прохладно. Недалеко было Лопушное. В который раз остановились на отдых, и тут же Шурка острым ножичком срезал прямо у дороги полуметровый пустотелый зеленый стебель и сделал из этой быстылины дудку. Раза два со свистом дунув в нее, разудало заиграл, переваливаясь с ноги на ногу. А Шуркина мама, весело выскочив на поляночку, пошла в пляс, припевая:

Дударь мой, дударь молодой!

Самодударь мой дударь молодой!

Ее маленькие загорелые и ловкие ноги, обутое в чувяки, мелькали в ромашковом и васильковом разнотравье маленькой придорожной полянки. И вся она, в косыночке с голубыми горошками, стала вдруг веселой и озорной. Шурке тоже стало радостно, и оттого он заиграл еще азартнее и громче.

Когда он кончил играть, отец одобрительно спросил:

– Где ты так научился выкомаривать?

– Дед его подучил, – сказала мать.

Жданка тем временем не плошала и, увидев сочную густую траву в кустах, дернулась туда. Рыдванка встала поперек дороги, передними колесами подмяв кустики бересклета.

– Но... балуй у меня, – совсем как на лошадь, грозно шумнул отец, но, спохватившись, вылез через проволочные боковины из рыдвана и вывел Жданку на дорогу.

Лесные дороги, там, где ходит только гужевой транспорт, особые.

В три колеи. Две от колес и от лошади; посередине дороги – третья.

Удивителен запах лесных дорог. Меж колеями изумрудная зелень не теряет своей свежести и яркости все лето, под нависшими низко ветвями ей благодатно. Влажность, исходящая от озера, питает буйство и разнообразие трав по обочинам дороги. На самой дороге обычно растет самоотверженный подорожник. Шуркина мать называет его семижильником, и Шурка несколько раз уже пользовался им, прикладывая к ранкам или опухоли.

Из двух десятков озер, которые он знает, Лопушное одно из самых интересных. Ни на Лещевом, ни в Подстепном, ни на Осиновом нет того, что есть здесь. Тут с Шуркой всегда что-нибудь происходит интересное.

В дальнем заросшем конце озера впервые позапрошлым летом подстрелил крякву. А на подходе к озеру среди черемухи растет единственная на этом берегу Самарки береза. И никто никогда – ни взрослые, ни мальчишки – не брали сок у березы, настолько она дорога всем. Однажды они с дедом вдоль озера набрали целую телегу груздей и на обратном пути негде было сидеть в ней, шли пешком.

...Когда добрались до озера и отец начал распрягать Жданку, мать Шурки, подошедшая помогать, ахнула:

– Васенька, что же это делается, а?

Шурка увидел, как из обоих передних сосков Жданки, словно из неплотного рукомойника, стекало большими каплями молоко.

– Ты ее доила утром? – спросил тусклым голосом отец.

– А как же, доила, – поспешно ответила мать, – а если она надорвалась?

– Надо подоить еще, – будто не слыша ее, сказал отец, – а ты, Шурка, сготовь костер, сварим молочный суп с лапшой. Вот вам задание, а я пойду траву посшибаю, попробую.

Шурка взял топорик и пошел высматривать рогульки для костра.

Вскоре зазвучали за его спиной непривычные такие в лесу удары молочных струй о гулкое дно ведра. И он услышал, как мать сквозь слезы почти запричитала:

– Миленькая ты наша кормилица, прости нас...

За старицей

Много всего надо для строительства дома. Но после самана: бревна для теса – в первую очередь. В этом году Любаевым повезло: ордер в сельсовете дали на сенокос в лесу. Кварталы достались тощие, трава была никудышная. Однако сенокос, получается, был недалеко от делянок, отведенных под вырубку осин и осокорей. Можно было работать на два фронта. Так и сделали: попеременно то косили, то пилили. Кто как мог.

Рассортировали калек и – за работу. Венька Сухов без руки, так ему, например, проще пилить, чем косить. Он и пилит. А вот у дядя Коли Тумбы нет левой ноги почти совсем, он и косит, и пилит.

Любаев разводит и точит пилы. И потихоньку пробует косу, насаженную на черенок под таким углом, чтобы можно было работать не нагибаясь. Шурка видел, как отец пробовал косить за кустами, ближе к воде. Размеренные, выверенные движения отца при совершенно прямой спине и прерывистое передвижение его вдоль валка, волочащим за собой ногу, напоминало работу какой-то машины. Но эта кажущаяся надежность могла враз рухнуть, если не соблюдать равновесие и равномерность перемещения.

Валить громадные осокори тоже надо уметь.

– Ты сначала определяй, куда дерево глядит, то есть куда оно наклонено, – учит Венька Шурку, – как определил, так и пили с той стороны, куда оно глядит, на глубину полотна пилы. А затем уж заходи с противоположной стороны и на четверть выше давай пили. Само упадет куда задумано.

– А если дерево не «глядит» и надо чуть в сторону свалить его? – уточнял Шурка.

– Тогда берешь топор и как сделаешь первый надпил, сразу руби топором, чтобы не было зажима – можно руками или вагами толкать куда надо.

– Берегись! – зычно крикнул Тумба, и осокорь, могучий и красивый, сокрушая молодняк, не теряя величавости и осанки, повалился на траву. Земля вздрогнула, когда он упал, и стало светлее на поляне.

– Молодец, Тумба! Удачно положил! – обрадовался Шурка.

– Прошное лето вот так же валили, и один рухнул на сухостой – приличную осину, а она возьми да и упади, туда, где и не ожидали, а там бабенки кружком стояли. Вот одну из них, Таню Амосову, она будто выбрала – скончалась на месте, – сказал Веня.

Первый осокорь, который подпилили Венька с Шурка, падать вначале не хотел, он чуть повернулся слева направо в комле, зажав пилу так, что Шурка с большим трудом, торопясь, выхватил полотно и замер.

– Ко мне! – властно скомандовал Веня и привлек его к себе. – Надо вбок уходить, а то сыграет и комлем долбанет.

Вагами мужики помогли великану, и он рухнул, обломав при ударе о землю себе сучья толщиной в руку, будто это хворостинки, накрыв большой муравейник.

Объявили перерыв, Шурка сладил себе удочку: крючки у него всегда были с собой в фуражке, а леску он захватил специально. Только приладил удочку на рогульке, кем-то прилаженной у коряжки, как поплавок – в мизинец сухая куга – медленно пошел под воду. Шурка привычно дернул: на крючке болтался в ладошку величиной карась. Забросил вновь – та же история. После пятого карасика насадки – безголового слепня – не стало.

– Сейчас я тебе добуду насадку, – сказал подошедший Венька, – дай картуз!

Пока Шурка ловил слепня, пришел Венька и протянул фуражку:

– Попробуй муравьиные личинки.

Шурка попробовал: такая же поклевка – и как отмеренный, в ладошку, карасик затрепыхался на траве.

– Тут кто-то хорошо приманивает, – догадался Шурка, – нормальная рыбалка.

– Это разве рыбалка... вот в Сибири – это да! – отозвался Венька.

– А откуда ты знаешь?

– Дядька мой пишет.

– Он в Сибири?

– Да, с сорок первого года. Теперь уже давно освободился.

– Он сидел?

– Да, теперь женился давно, там и живет.

– А за что сидел? – допытывался Шурка, вспомнив про Жабина, как тот забрался в дом к Пупчихе.

– Ерунда, снял с трактора магнето – поковыряться для интереса, ну, в поле, когда со стана шел. Оно ему и не нужно было. По дурусти сделал.

– Ничего себе!

Много всякого увидел и услышал Шурка на этих делянках. Поразил его один разговор, который он нечаянно услышал. Не все уходили ночевать в село, по разным причинам многие оставались на делянке, спали в шалашах из веток и травы, под огромной, толщиной в четыре Шуркиных обхвата, ветлой. В один из таких вечеров Шурка пошел в дальний конец озера посмотреть на уток, которые на зорьке слетались сюда. Ему нравилось за ними наблюдать. Уток почему-то не было, и он решил подождать, присев у небольшой копны, метрах в пяти от берега.

Солнце уже опустилось ниже могучих вязов, росших близко у воды на той стороне, и его лучи, пробиваясь сквозь листву, освещали задумчивую гладь озера, Шурку вместе с копной и весь берег, томно и разнеженно притихнувший после жаркого дня. Противоположный берег и гладь воды там, под вязами, были сумрачны и таинственны.

Слева от Шурки послышались шаги, а потом и голоса. Он узнал обеих говоривших: Аксюта Васяева и Ганя Лужкова! Он выглянул было и обомлел: они раздевались, намереваясь, очевидно, купаться.

– Ох, и красивая ты, Ганя, внаготку, – сказала восхищенно Аксюта.

– Красивая-то красивая... – задумчиво ответила Ганя. – Красота-то меня и ухоркала.

– Как так? – удивилась Аксюта.

Шурка вновь выглянул и поразился увиденному: на берегу стояли две совершенно голые молодые женщины. У него странно закружилась голова.

Молодая, пышущая здоровьем Аксюта стояла ближе к Шурке, белое ее тело, освещенное закатным солнцем, вызывало невольный восторг. Казалось, каждая рыжая волосинка на ее теле была обласкана вечерним светом. Грудь ее, круглые и большие, вмиг начали исполнять какие-то свои замысловатые движения, когда она, подняв руки к небу, дурачась, встряхнулась всем телом и заиграла кистями рук.

– Как может красота ухоркать? – переспросила она, семена на одном месте ногами.

Ганю всю Шурка не увидел. Ее закрывала своим мощным корпусом Аксюта, но он отметил, как разительно они отличаются друг от друга. У Гани были узенькие плечи и крепкие, шире плеч, округлые бедра. Смуглая кожа делала ее похожей на статую богини. Нездешняя красота Гани была таинственна и холодновата.

– Может, – отозвалась Ганя. – У меня жених уже был, и вдруг Николай появился. Инструктором райкома партии начал у нас работать, а я – секретарем райкома комсомола. Красивый он был, ладный такой. Ухажеров у меня было! А он всех отбил.

Она вошла по грудь в воду и, ойкнув, притихла.

Шурка прижался к копне, боясь, что его увидят. Он не знал, как поступить. Разговор продолжался.

– Я и раньше замечала: странно он ходит как-то, легко и в то же время на левую ногу вроде припадает. Но ничего не говорил, скрывал до времени. Оказалось, ранение у него было,

в колено, а потом началось... Отрезали ему ногу чуть не всю. И закатилось мое счастье-то. Жена инвалида. А он еще и запил.

– А мне хоть хроменького, но молоденького бы муженька, – вздохнула Аксюта.

– У тебя все впереди.

– Ага, – с готовностью вроде бы согласилась Аксюта. А потом добавила: – А позади-то уже чуть не тридцать годков.

– Угробила я сама себя, за него вышла, как помутилась голова.

Ведь какие вокруг меня парнины были! Дура я, – продолжала Ганя.

– Что ты говоришь, – ахнула Аксюта, – разве можно так? Он тебя любит?

– А куда ему деваться-то с культей, – зло сказала Ганя и саженьками по-мужски поплыла на середину озера.

Аксюта сложила рупором ладони и прокричала как бы украдкой (боялась, наверное, что их кто-нибудь обнаружит голыми в озере), как мальчишка, обращаясь к кому-то на противоположном берегу:

– Кто украл хомуты?

И эхо тут же ответило:

– Ты, ты, ты...

Аксюта хихикнула довольно и не спеша пошла к воде.

Вечерние лучи солнца ласкали ее крупное тело. И казалось, что это большая домашняя птица или огромный жаворонок, один из тех, которых они лепили с мамой из белотурошной муки весной, сейчас взмахнет руками-крыльями и попытается взлететь. На плечи ее упали золотистые волосы, а там, в самом низу живота, у Аксюты огоньком горел небольшой островок растительности.

«Разве такое бывает? – удивился Шурка, – рыжая везде вся!»

Его ошеломила красота и притягательность обнаженных женских тел. Такого с ним еще не было. С Аксютой и Ганей он встречался в день по несколько раз, но там они были в одежде, все в хлопотах, а здесь, оголившись сами, они вдруг обнажили перед Шуркой целую бездну ощущений. Он то проваливался куда-то, то вдруг видел, как органично они добавляли собой все вокруг, и он начинал недоумевать: как могла природа еще каких-то пять минут быть без них. То совершенно понятных и земных существ, то вдруг непостижимых, обескураживающих, заставляющих тихо сидеть, окунувшись лицом в теплый парной воздух над вечерней озерной водой с лилиями.

Греховных мыслей не было. Их просто не могло еще быть.

...Аксюта тем временем зашла чуть выше колен в воду и со смехом, поднимая крупные брызги, плюхнулась в воду. «Не перебабилась еще», – вспомнил он непонятное для него слово, услышанное за столом после помочей.

Шурка встал и, не скрываясь, пошел на стан. «Моя мама не такая, у нее язык не повернется так сказать, как сказала красивая Ганя, даже подумать не сможет», – для чего-то убеждал он себя.

Два Василия

– На-ка вот... Опять обмишурилась Варька-почтальониха. Шуркина мать протягивает почтовый конверт.

– Он же нераспечатанный, мам, – Шурка берет в руки серый с пятнами конверт.

– Ну и что, я вижу номер дома двадцать, а у нас – двадцать четыре, там и улица, значит, другая.

Шурка вслух читает: село Утевка, улица Садовая, дом двадцать, Василию Федоровичу Любаеву.

– Это нам, мам, все-таки!

– Да нет, грамотей, улица Садовая. Пойдешь за хлебом в магазин – занесешь.

– Ладно.

Василий Федорович, который живет на Садовой, и его полный тезка – Шуркин отец, живущий на Центральной, – родные братья. От того и путаница.

В гражданскую, когда молодой еще дядька Василий воевал у Чапаева, ранило его в легкое. Умирать приехал домой к матери своей Прасковье. Плохой был, и все решили, что он уже не жилец на этом свете. А тут у Прасковьи и Федора родился еще сын, вот и решили его назвать Василием – в память о старшем умирающем сыне. Но старший выжил.

Выжил и младший. Так у Любаевых стало два Василия, а отец Федор вскоре умер от непонятной болезни, поехав в Уральск за солью.

Когда Шурка пришел с письмом, хозяин дома сидел на пороге у сеней и разбирал мокрую рыбацкую сетку, сын его Сергей тесал срубовину посредине двора. Щепки, освещенные майским ласковым солнцем, излучая теплый свет, отлетали в сторону гостя. Одна щепка упала лодочкой к Шуркиным ногам, как утица, закачалась с боку на бок и затихла, коричневенький сучочек как глаз уставился на Шурку внимательно и таинственно.

– Гость пришел! – зорко глянув на Шурку, крикнул дядя Василий. – Мать, давай нам аряны.

Вышла тетка Машурка с бидончиком кислого молока, разведенного холодной водой, который, очевидно, был у нее припасен заранее и хранился в темных сенцах.

– Держи. – Она вручила Шурке пол-литровую белую кружку с помятым краем и, помешав в бидончике большой деревянной ложкой, налила.

Шустрая оса села на край бидона, и Шурка замахнулся.

– Не тронь, она улетит, не злые они сейчас, – сказал дядька Василий и принял посудину из рук жены, аппетитно заработал кадыком.

– Ну, придудонился... Так нельзя, Вась, горло перехватит.

– Ничего, мать, не бойся, хорошо больно, – он ответил не сразу, а после того как напился и поставил подчеркнуто деловито бидончик на траву около своих ног.

– Лепота-то какая, а?!

– А что это такое, дядя Вася? – спросил Шурка.

– Что?

– Ну лепота?

– Красотища, значит, что же еще? Не понятно, что ли, чему вас только в школе учат, аль сам не чувствуешь?

– А почему обязательно сруб колодезный делают из ветлы? – перевел Шурка разговор в деловое русло.

– Не обязательно, – возразил дядька Василий, – но желательно из ветлы. Видишь ли, береза в земле не лежит, осина дает горький привкус воде, а ветла и в земле лежит долго, воды не портит, и вкус от нее лучше.

- А сруб куда?
- Как куда? Вам.
- Нам?
- Ну да. Брательник сказал: колодец в огороде будет делать.
- Вот здорово, – обрадовался Шурка.

Шурка смотрел на щуплую фигуру хозяина двора, на его прокуренные усы, неровные плечи, дырявые галоши на босу ногу, и ему не верилось что перед ним участник героических дел.

- Дядя Вась, а какой был Чапаев?
- Обнаковенный, какой... – сказал тот с ходу.
- Ну не может так быть!
- Заряженный был, понимаешь, – спохватился Василий, – понимаешь, заряд в нем большой был, большого калибра, порошу больше, чем у остальных, везде хотел быть главным, начальство сверху не любил.
- А сильный был?
- Нет, были здоровее мужики. – Помолчал, потом добавил: – Страху не ведал, али жизнь не ценил свою, а значит и чужие, не знаю, сразу не скажешь. Я в артиллерии был, нечасто его видел, но знал. В артиллерии попроще. А вот в кавалерии, брат, цельная наука. Жестокая наука.

- Почему жестокая?
- Конь обучен должен быть специально для кавалерийской атаки.
- Мой дружок Арсений из Осинок толк знал в этом деле. Рубака был зверский, но и он не сразу привык к резне.
- Разве бой – это резня?
- Надо уметь шашкой работать. Если казару развалить от ключицы до пояса – это одно, а если шашкой рубануть по голове – другое... мозги ажник с кровью вылетают с такой силой, что вся рука от кисти до плеча ими замазана. Арсений по первоначалу есть не мог после рубки несколько часов, а потом пообвыкся: даже руки не мыл – садился и за кусок хлеба. Все вперемежку: и кровь, и хлеб.

- Шурка стоял, прислонившись к завалинке, ошеломленный.
- Так было?
- А как иначе? Степи, дожди, смерть, вши, слякоть – это тебе не кино показать. Война – это пакость одна!
- А герои как же?
- Какие?
- Ну, в книгах, в кино опять?

Дядька Василий посмотрел на Шурку, непонятно улыбнулся, как бы сам себе, и ответил тоже вроде бы сам себе:

- Я про жизнь говорю, а не про кино.
- Дядя Вася, а где тебя ранило?
- Чудно ранило. Шальная навроде пуля, когда брали Белебей, в общей колготне. Когда Арсений привез меня в Утевку, я почти загибался. Но я жив, а он где-то в уральских степях лежит.
- И все?

– А что еще? Разыскал я семью Арсения чуть попозже. Беднота, она и есть беднота. Смотреть было больно. Ну ладно об этом балакать. Одна надежда на вас, вы у нас вырастите грамотными – глядишь, вылезем из грязи...

Возвращаясь из магазина с двумя буханками хлеба в сумке из кирзы, Шурка думал о последних словах дядьки Василия.

Сколько он себя помнил, всегда окружающие говорили: «Учитесь, а то всю жизнь, как мы, в грязи провозитесь...» Это стало каким-то всеобщим девизом и в школе, и дома, будто вся Шуркина деревня враз с его поколением заразилась вырваться из сельской жизни. Прорваться на другой уровень жизни: грамотный, чистый, достойный. Но когда он начинал вспоминать, сколько сильных красивых ребят, выучившись в школе, ушли в город и не вернулись назад, его охватывала досада: для грамотных, способных людей, получается, настоящая жизнь была на стороне, не в деревне, из нее надо было убежать и не вернуться. И это поощрялось родителями в открытую. Тогда как же с домом, с колодцем, со всем, что делается в деревне, – для кого это? Все временно выходит, не навсегда? За что же воевали дядька Василий, Арсений?

Он и в себе чувствовал огромную жажду учиться, безудержно влекло к театру, литературе. В сознании росло понимание, что должна где-то быть жизнь без пьянства, матюгов, непролазной грязи на улице. Убогость быта уже начала осознаваться, но она наталкивалась внутри Шурки на крепкую силу, название которой было пока ему недоступно, но была в ней несомненно обида и горечь за окружающее, кровное и родное, что держало так цепко в своих объятиях, что порой доходило до физического ощущения близости, связи кровной со всем, что дышит вокруг, говорит, поет, молчит, глядя большими глазами озер снизу, а сверху – бездонным летним небом, усыпанным пригоршнями хрустальных звезд, рассыпанных чьей-то щедрой рукой и покойно внимающих сверху вниз.

Он часто видел себя как бы со стороны в ватажке ребят, сидящих у рыбацкого костра на Самарке, то ли с восхищением, то ли с досадой, не понять, наблюдающих в ночи за вдруг ворвавшимся в ночное небо над головой реактивным самолетом – еще одним зримым доказательством того, что есть еще какая-то другая, с иными заботами, не похожими, наверное, на сельские, жизнь. Тревожащая и в то же время странно манящая. Где-то внутри Шурки, вовне ли его, он это чувствовал, работала какая-то сила, которая близила неминуемо прощание его со всем родным и близким. Было от этого тревожно и больно.

Сухопутный пушкарь

На сенокосе всегда что-нибудь происходит. Два года назад убило бастрыком Федьку – старшего сына Петянихи. Они перевозили с Митягой сено на полуторке. Осталась последняя ездка. При переезде через рытвину на ухабах мотор заглох – заднее колесо попало в глубокую сырую яму. Митяга и Федька стали помогать как могли – совали сено, бурьян в колею. Мотор натужно упирался, а когда грузовичок выскочил на твердь, так тряхануло весь воз с сеном, что схваченный сзади и спереди воза веревками бастрык не выдержал и лопнул посередине, выстрелив взад и вперед двумя осиновыми обломками. Стоявший сзади Федька получил удар по голове и скончался тут же.

Об этом забыли уже. Или просто молчат. Прошлым летом сенокосный стан был разбит на том же месте, где косили с Федей и где они с Шуркой часто вечером после изнуряющего жаркого дня около плеса сидели на вечерней зорьке на чирков... Шурка помнил сенокос прошлого года, как будто это было вчера: у костра что-то смешное рассказывал дядька Сережа из своей армейской жизни. Шурка лежал около припасенной для него дедом чашки. Когда дедушка снимал ведро с готовой «польской» сливной кашей, Шурка вскочил, намереваясь расправить завернувшийся угол одеяла, которое служило скатертью, и невольно, повернувшись, попал прямо под ведро. Ведро в руках деда наполовину опрокинулось, жидкая часть варева выплеснулась, и одуряющая боль обожгла Шурке спину. Дед снял с Шурки рубаху, и теперь он лежал на животе полуголый. Шурка крепился, хотя волдырь чуть ли не во всю спину.

И начались непривычные дни и хлопоты. Дед по несколько раз в день смазывал спину подсолнечным маслом. Подсолнечное масло – лекарство. Бутылку с этим лекарством дед отложил под рыдван, около логунка с дегтем, строго-настрого запретив использовать масло для еды.

– Хотя бы сам ел масло, а то как верблюд – в свой горб, то бишь в волдырь откладывает, – так выражает свое недовольство дядька Серега.

– И как обидно! Ему ведь тоже в рот не попадает, через кожу приходится впитывать – никакого удовольствия, – вторит дядька Леша.

Шурка с мольбой смотрит на дедушку. Остряки умолкают. Но чуть позже, растянувшись на разнотравье после еды, дядька Сережа тянул:

– А знаете, если бы мне такой волдырь на спину, я бы держался на воде как бог. Такой пузырь как спасательный круг! Красотища!

– Врите больше, – отмахивался Шурка.

Но в голове: пузырь!

Обидно, что самому нельзя посмотреть: какой он. Ведь намного же легче плавать с накаченной камерой? Может, завтра попробовать? Но его отрезвил голос деда:

– Шурка, ты уже большой, неужели всерьез слушаешь этих шалопаев?

Не смей вообще купаться! Заразу занесешь – беда будет.

– Правильно, Шурка, не плавай, живи сухопутным пушкарем, – вставляет свое дядька Серега.

– Кем, кем? Каким пушкарем?

– Сухопутным, что непонятного-то?

– А что это такое? – удивился Шурка.

– А вот читать больше надо, – поучал Сергей.

– И плавать, – дополнил дядька Леня.

– Да ну вас...

– Что на вас нашло, какая муха укусила. – Дед сердито смотрит на сыновей. – Он больше вас обоих читает, я за глаза его боюсь уже давно, «Тихий Дон» проглотил за две недели.

Шурка благодарен деду, ему очень не хочется, чтобы эта кличка прилепилась к нему. Зовут же Женьку Чугунова «пожарником» с того дня, когда он в тесно набитом клубе, забравшись на лестницу у стены (негде было стоять) во время фильма «Тарзан», свалил нечаянно висевший огнетушитель, и тот, сработав, стал поливать ближние ряды зрителей. Под истошный бабий крик: «Пожар!» в темноте зала начались переполох и невыразимая давка. Напрасно завклубом успокаивал и призывал не паниковать. Могучей волной он был сметен и вынесен из зала, который в несколько минут оказался пустым. Только некоторое время спустя, когда выяснилась причина, зрители, нервно похохатывая, пошли досматривать кино. Но Генка с тех пор так и стал с чьей-то легкой руки «пожарником». Хоть застрелись!

У Кунаева ключа

Шуркины приятели заболели игрой в лянду. Вырезали из овчины кусок в виде пятака и пришивали к нему плоскую круглую свинчатку. Если у этого пятака шерсть длинная – лучше лянды не было. Играли просто: надо было подбросить лянду и, стоя на одной ноге, другой, обутой в валенок, тем местом, где шишечка, бить по оперенной овечьей шерстью свинчатке, не давая ей упасть на пол. Ей положено летать: вверх-вниз, вниз-вверх. Надо было набрать наибольшее число ударов.

У Мишки получалось до двадцати. Он – чемпион улицы.

На прошлой неделе, когда играли вечером у Лашманкиных, Мишка попросил Шурку показать, как рыбачат на подуста:

– Мне просто интересно, наши никто не умеют с лодки, а у тебя наука от Головачевых, все говорят. Про дядьку твоего, Алексея, знаешь, как говорят?

– Нет.

– Толкуют, что он рыбу в колодце, если надо, наловит.

...Три дня назад они пригнали из-под Платово, с Коровьих ям, плоскодонку, ее оставил там, когда в последний раз рыбачил, дядька Алексей. Приковали лодку цепью чуть выше Ледянки.

И вот настал день, когда они отправились на рыбалку. До Самарки добрались вовремя, было еще только четыре часа. Остро пахло прохладным песком и мокрыми лопухами. Не торопясь Шурка откопал из песка весло и два осиновых кола, которые он заранее припас. На реке никого не было. Это ему понравилось. Было еще темновато, но Шурка знал как это быстро проходит утром, в это время, и поэтому торопился; надо вовремя определить место.

– Ну что, Миш, давай с этой стороны, на перекате встанем.

– А может, с той, под обрывом, там течение спокойнее, – предложил приятель.

– Да нет, там мелкая плотва замучает, а нужен подуст, верно? На перекате наверняка будет.

– Ага, – охотно согласился Мишка.

На быстром течении надо уметь ставить кол для перетяга, это делает не каждый, поэтому Шурка все исполнил молча сам. Мишка только смотрел.

Направив лодку строго носом против течения, он быстро опустил кол в воду под углом по течению и, нащупав им песчаное дно, упирая стал расшатывать его из стороны в сторону. Течение успело повернуть нос лодки поперек реки, но кол уже засосало.

Скупые и размеренные движения Шурки Мишка оценил и смотрел на все зорко – учился.

То же проделал Шурка и со вторым колом. Привязать бечеву между кольями и установить лодку ровно поперек реки, чтобы удобнее было пускать поплавки, было уже менее сложно.

– Миш, ты где будешь сидеть, на носу или на лавке?

– На лавке лучше!

– Верно, на носу без конца будешь греметь цепью, а подуст очень пугливый, ведь глубина всего полтора метра, – пояснил Шурка. – На, разматывай удочки, обе, а я быстренько разберусь с приманным мешочком.

Мишка с готовностью подчинился. Шурка ловко намочил отруби прямо на дне лодки, скупко поливая из консервной банки воду, чтобы не разводить лишней грязи, и набил вязаный в мелкую ячею приманный мешочек. Когда опускал за борт, на дно, муть от отрубей белым ручейком пошла от лодки по течению. Это Шурке понравилось.

Становилось уже светло, но солнечных лучей не было. Их скрывал большой лес с правой стороны, на круче.

– Все, Мишка, теперь вот мерником, – он протянул гайку с петелькой из ниток, – точно надо замерить дно, выставить поплавки и все. Только тихо, грузилом по лодке не стучать – распугаешь рыбу.

Насадив дождевого червя, Шурка левой рукой тихо опустил грузило в воду, чуть левее бечевки, на которой был привязан приманный мешочек. Поплавок, на миг задержавшись под бортом лодки, пошел быстро по течению.

У Мишки клюнуло, едва его поплавок достиг половины пути, отпущенного ему длиной лески. Он дернул прямо на себя: подуст, вылетевший из воды, ударился о борт лодки и сорвался в воду. На крючке осталась часть губы.

– Ты не так дергай, Мишка, – проговорил вполголоса Шурка. – А то ты всем губы тут пообрываешь, сейчас крупнее пойдет.

– А как?

– Вначале, когда поплавок в воде, дергай нормально, а потом сразу вбок ведем, когда зацепил, и по воде подтаскивай к лодке, около нее левой рукой, около грузила, хватай леску – и в лодку.

Сноровистый Мишка все понял, и вскоре у его ног в лодке лежали три подуста, каждый с карандаш длиной.

– Шурк, а верно, подуст похож больше всего на голавля, только будто кто ему каким молоточком в морду дал – и у него так губа ровно сплюснулась, а?

Шуркин поплавок бодро ушел под воду, он дернул, и в его руке притих серебристый подуст.

– Твой крупнее, – позавидовал Мишка.

– Сейчас пойдут как отмеренные, ровные, хорошо сели мы с тобой. Только бросай ближе к приманке.

В азарте рыбаки и не заметили, как дно лодки под босыми ногами стало белеть. Лучи солнца пробивались через темный лес, но под кручей еще была прохлада.

Было тихо и покойно вокруг. Лишь кукушка в осиннике на левом берегу, два раза перелетев с места на место, напомнила о себе. Тишину нарушил сразу и на всю Самарку Семен Топорков. Он внезапно появился с удочкой на левом берегу, чуть ниже рыбаков, и начал быстро раздеваться. Видно было: он намеревался перебраться на другой берег, чтобы порыбачить на язя. Он – язятник.

Раздевшись догола, Семен вошел в воду по пояс и сразу окунулся с головой. Когда вынырнул, крикнул так, что раздалось на всю полусонную округу. Держа в левой руке одежду над головой, он поплыл.

– Ох, ох, хороша, ну хороша! Послушай: хороша, а! – говорил он то ли себе, то ли обращаясь напрямую к Самарке.

– Ну молодчина, а... ох... охо-хо... чудо, спасибо!

Он переплыл Самарку, положил одежду и вновь начал плескаться в воде на отмели.

Радовался и разговаривал как ребенок:

– Послушай, все дно золотое видно...а? Такая ласковая, ну спасибо, ну молодчина!

Рыбачков закрывала большая ветловая коряжина на воде, Топорков их не видел и наслаждался еще и тем, что был один при такой красоте.

– Расхулиганился наш милиционер, – усмехнулся Мишка, – такая верста, а как пацан.

Топорков тем временем вышел по пояс из воды, и его мощное крупное загорелое тело заиграло под утренними лучами солнца. Он был такой же, как Самарка, расцвеченная на отмели золотистыми песчаными берегами и темным дном. Они дополняли друг друга.

Топорков постоял под солнцем и опять с брызгами уронил себя в воду.

– Разворковался, как с девкой, – густым басом неожиданно донеслось из кустов напротив Топоркова.

– Ага, как с девкой, точно! – согласился Степан. – Ты, Сарайкин, откуда взялся?
– Бахчи караулю у Кривой ветлы, услышал тебя, пойду, думаю, стрельну курева, у меня кончилось.

– Подожди малость, я сейчас!

Сарайкин продолжал:

– Ты скажи про братана моего: из Чапаевска что есть нового?

– Судить скоро будут его, понял?

– Чего же не понять. Как думаешь, много дадут? – глухо спросил Сарайкин.

– Еще бы, судью на улице избить – десяток лет схлопочет, это точно.

Топорков вышел на берег и запрыгал на одной ноге.

– Бры... ры... бры... ы, хорошо как!

Поднял одежду и стал в ней копошиться, очевидно, искал папиросы.

Солнце показалось из-за леса. Лучи его упали и на рыбаков. Стало жарко. Поклевки пошли реже, и Шурка предложил позавтракать.

Сидя на носу с огромным надкушенным помидором и горбушкой хлеба, Мишка поинтересовался:

– Я знаю, вы с дедом отводом рыбачите на шук, да?

– Да, но не на шук, а вообще. Правда, попадает больше шук.

– После раздополя?

– Да нет, наоборот, когда только начнется ледоход, большой воды еще нет, рыба вся жметя к берегу, вот бреднем ее и бери.

– А как, вода же холодная?

– Дед к кляче, которая идет в глуби, прибывает брусок с гнездом, в него вставляют большой, метров шесть, тонкий шест. Этим шестом один человек отталкивает клячу от берега в глубину с берега, а другой, который идет рядом впереди, тянет по течению за веревку, привязанную к кляче.

– А вторая кляча? – допытывался Мишка.

– А что вторая? Ее тащишь около берега в сапогах.

– Ловко! – оценил Мишка, – это твой дед придумал?

– Да нет, он говорит, что еще со своим дедом так рыбачил.

Перегнувшись через борт, смешно вытянув губы трубочкой, Мишка попытался напиться.

Шурка ему помог: чуть качнул лодку, и лицо приятеля по уши ушло в воду.

Едва откашлявшись, Мишка громко и задорно засмеялся. Когда кончил смеяться, спросил:

– Шурк, отводом рыбачить пригласишь?

– Это же весной, в апреле, когда зажоры на Самарке пройдут, потом...

– Ну и что? Я подожду, – сказал бодро приятель.

– Ладно, – немножко важничая, пообещал Шурка.

Вороняжка

Это ягода не ягода, сорняк не сорняк. Растет сама по себе. Только взойдет картошка, она тут как тут. И, начиная первую прополку, иногда легко спутать ее с молодой лебедой, когда торчит она из теплой благодатно пахнущей огородной земли всего лишь двумя-тремя листочками. Но не тут-то было, матушка Шурки зорко ее высмотрит и после прополки, она на равных останется стоять рядышком с листочками картошки. Цветет вороняжка так же неярко, как и картошка, цветочки у нее намного меньше, незаметнее. Ягоды ее, если с чем-то сравнивать по внешнему виду, когда спелые, может быть, похожи на смородину, но только внешне, такой же величины, темно-синего цвета, но мягкие и легко в руках мнущиеся.

В знойный летний день, когда еще ни одной ягоды нет ни в огороде, ни в лесу готовой к употреблению, вот она вам – мальчишеская утеха и радость: вороняжка. Правда, ее зовут часто по-другому: «бзника». Шурка всегда конфузится, когда слышит это слово, и так не говорит, недоумевая, почему все взрослые, женщины, учителя – все зовут ее так. А бывает еще удивительнее: попадают ягоды вроде бы неспелые, не черные, но белесые, изнутри светящиеся теплом и зрелостью – они вкуснее самых черных и броских на вид.

Приятно, прибежав на огород, упасть меж кустов вороняжки и, срывая налившиеся соком ягоды, отправлять в рот. Но ягоды ее, висящие гроздьями близко от земли, которая всегда в огороде мягкая и легкая, часто в земляной пыли, и поэтому есть их приходится не каждую. Другое дело, когда Шуркина матушка, быстрая и ловкая, проворно насобирав миску вороняжки, ставит ее, помытую холодной водой и посыпанную сахаром, на стол – не оттащишь за уши! Но самое прекрасное то, что можно приготовить из нее вареники. Вареники с вороняжкой! Они бывали разные: когда горячие, их обжигающий аромат, соединенный с холодным молоком, возбуждал и дразнил. Холодные, они становились так вкусны и аппетитны, что Шурка их ел с большей охотой, чем все то, что матушка его могла только с присущей ей ловкостью и быстротой приготовить и в свое удовольствие угостить...

Шуркины школьные друзья, когда у него бывали, с нетерпением ждали таких вареников.

...Лето в разгаре. Когда Шурке прибегал утром в огород с ведром за водой, с разных углов уже выглядывали неярые, но светлые глазки. Они высматривали его...

Шуркин колодец

– Раз уж мы затеяли дела с домом, то надо и остальное подтягивать, – рассуждает вслух Шуркин отец.

– Что остальное-то? Поберегись немного, – Катерина говорит голосом твердым, а в глазах радость и одобрение.

– А я на вас с Шуркой рассчитываю. – Отец отложил шило в сторону, оставив зажатым валенок между коленями, ловко намылил дратву и весело подмигнул: – Колодец надо копать: и пить надо, и огород поливать. Без воды – никуда. А будет колодец – разведем сад; вишню, яблони, смородину... Мать, что примолкла? А то во всем селе яблони только у Светика и Карпуна. Увидите, как все подхватят.

– Не примолкла я, вспомнила, какая тут на задах до войны вишня была, все белым-бело было. А сейчас как и не было ничего, – вздохнула она, смахивая гусиным крылом сор с шестка.

– Шурка, и ты почему-то молчишь? Неужто не веришь, что сад разведем?

– Пап, я не знаю, как мы будем копать колодец, – сказал Шурка и покраснел, ему очень не хотелось, чтобы отец подумал, что он трусит, просто дело-то необычное.

Но отец не отступал:

– Во-первых, схитрим: будем копать внизу огорода, там до воды метра четыре, чует мое сердце, во-вторых, я Федрыча попросил уже какой-никакой сруб приготовить – поможет.

– Никак сговорились уже, – покачала головой Шуркина мать.

...Отец отбил и наточил лопаты: две штыковые и одну совковую, приготовил три жерди, выдернув их из городьбы за сараем.

– Пап, а это зачем? – удивился Шурка.

– А как же ты землю будешь с глубины выкидывать? Настелим полати, сначала на них, а потом с них уже наружу. Через метр ведь уж глина пойдет.

...Работа вначале пошла споро. Мать всегда умела работать шустро и весело.

– Василий, а вдруг хлопыстнет струя, ты нас и не спасешь, готовь веревку – вытаскивать будешь. Аль не будешь?

– Хлопыстнет... жди... Больно горячая, глубины-то еще воробью по пупок.

Шурке от таких шуток родителей было легче копать. Ему нравилась манера отца сказать как все, но немножко поправить по-своему, чтобы становилось интереснее. Ведь любой бы сказал: воробью по колено, а только его отец сказал: по пупок. Он подумал так и невольно хихикнул.

– Что, Шурка, боишься на Америку выскочить?

– Нет, пап.

– А что?

– Боюсь промахнуться – мимо Америки проскочить.

– Ты вот что, – сказал отец, – не бери так помногу, это земля, надорваться можно, понял? Понемногу и размеренней.

– Ничего, пап, не будет.

– Я тебе сказал, а то кишка вылезет – будешь знать.

...Работа пошла еще более ходко, когда вечером на третий день пришел дядька Сережа. Он высокий, и поэтому ему можно выкидывать глину сразу наверх, не переваливая на полати, а потом с них наружу – двойная работа! Шурке нравилось все в дяде Сереже: и как он работает, и как дурачится для настроения.

– Вон Левый рассказывал: когда поисковые работы были около Кулешовки... Ну искали нефть, пробурили разок в одном месте, а потом на второй день стали вынимать трубы. – Серега для передышки завел историю, – ну и вынули!

– Что вынули-то? – не выдерживает Шурка.

– А то вынули, – отвечает неспешно Сергей, – непонятное что-то.

Похожее на какие-то рога, привязанные на цветную бечевку. Все открылось, когда бабка Прасковья в поисках своей козы зашла на буровую.

– Что?

– А то вот. Оказалось, бур споткнулся о скалу в земле, повернул и вышел у бабки Прасковьи в огороде на метр в высоту. Буровики как раз дело до завтра оставили. А бабка, выйдя в огород, подумала, что это дед такой хороший кол вбил, чтобы Маньку привязывать. И привязала слепо свою козу.

– И что дальше?

– Буровики стали вынимать бур... И вынули вместе с рогами. Крепко бабка привязала, видать, свою Маньку. – Пояснил так серьезно и степенно дядька, что стало похоже на то, будто сам поверил в свою историю, хлопнул ладонью по колену: – Только по цветной бабкиной привязи и опознали Манькины рога.

– Будет тебе врать-то, – сказала Шуркина мать. Сама громко засмеялась. – Ты вот скажи, брательник, откуда в тебе этих всяких историй на каждый случай жизни, а?

– А зачем тебе это? – удивился Сережа.

– А вот интересно мне. Со всеми случается разное, а с тобой чаще всех.

– Очень даже просто!

– Ну откуда?

– Просто самое интересное чаще всего происходит там, где почему-то нахожусь я.

– А еще потому, что любишь бодяжничать, – добавила Катерина. – Рубаху-тоними, а то всю загваздал глиной, я потом простирну.

На следующий день, после того как приходил помогать дядька Сережа, мать Шурки и вправду чуть не утонула. Она ударила в очередной раз в углу в твердую глину ломом, и оттуда начал бить родник. Быстро сбегали за стариком Остроуховым, принесли готовый «детеныш», и мужики начали его устанавливать. И тут пробил родник в самом центре.

– Катерина, ты напала на жилу, удачливая какая, – сказал Остроухов. – Сколько колодцев я вырыл на своем веку, а этот будет лучшим, помани мое слово. Все будут ходить за водой, надоедать будут.

– А мы для того и рыли, чтобы, кому надо, ходили за водой, правда, Шурка?

Шурка посмотрел на мать, лицо ее светилось. Маленькая, ниже его ростом, в сереньком в цветочек платье и измазанных глиной галошах, она была живее и красивее всех. И главное всех.

– Отец, а отец... назовем давай наш колодец Шуркиным, а то: Зинин колодец есть, Нестеркин колодец есть...

– Ну, мам... – собрался возразить Шурка.

Но отец опередил:

– Мне нравится, давайте так и назовем!

Шурка заметил, как обрадовалась своей придумке его мать. И как она благодарно посмотрела на отца, и они оба заулыбались чему-то своему общему и дорогому для них.

За плетнем, со стороны Лаптаевых, появился Мишка. Он знал, что нравится отцу Шурки, поэтому уверенно пробасил:

– Дядь Вась, кулешата приехали, футбольная команда, а Чугунок Вовка заболел, без Шурки никак.

– Правда, что ли? Это они на стадионе шумят? – повернулся отец к Шурке.

– Да, пап, первенство района среди школьников.

– Ну давай, раз так.

Не сговариваясь, Мишка и Шурка рысцой, шутя лавируя меж коровьих лепешек, припустили на стадион. По пути Шурка заскочил во двор деда, на чердаке мазанки набил полные карманы сушеной мелкой густерой, сорожкой, плотвой – это было как семечки. Когда вышел за ворота, кроме Мишки ожидали еще двое посыльных. На ходу теребя сушеную рыбешку, ребята заторопились на стадион.

Ночной разговор

Ночь. Летняя, душная. Повозка запряжена парой. На возу в летнем разнотравье Шуркин дед, Шурка и дядька Михаил – низкорослый, удивительно сильный, отчаянно резкий и смелый человек – отец Петьки Стрепетка.

Вспоминали гражданскую войну. Михаил рассказывал, как он, то ли в девятнадцатом, то ли в двадцатом году удрал с курсов красных командиров.

– Дядя Миша, – вмешался Шурка, – это дезертирство?!

– Ага, – беззаботно согласился тот.

Шурка решил до конца прояснить мучивший его вопрос, ведь вот сидят с ним на возу два очень своих, хороших человека. И оба – дезертиры. Только один убежал от белых, другой от красных.

– Дядя Миша, но ты мог бы стать командиром, как Чапаев?!

Дядя Миша повернул свое скуластое с рысьими глазами лицо к Шурке, и тот чувствует всей кожей своей остроту его взгляда в темноте.

– Ага, мог бы, а потом рубил бы таким мужикам, как твой дед-единоличник, шеи. И в конце концов моя голова улетела бы вон в те кусты. А сейчас как-никак сено кошу, на звезды смотрю. Кому от этого вред, а?! Никому жизнь не коверкаю.

– Михайло, стоп машина, – вмешался дед Шурки не сразу понятой для внука фразой, – больно ты разговорился, ни к чему это.

– Мы же в лесу...

– Все равно. Слепая сила, но слух у нее отменный...

– Тогда я петь начну, едрен корень. Это разрешено?

Шурке непонятен лаконичный диалог взрослых его спутников. Какая сила? Где она? Он злился на самого себя от непонимания происходящего. «Как же так, – думал он, – мой любимый дедушка почему-то единоличник, не колхозник. Дядя Миша – мой кумир – и того хуже: дезертир». Мир распадался на части от таких вопросов, и Шурке становилось не по себе. Но так длилось недолго. Уже через несколько минут он забыл неожиданный непонятный разговор, замороженный чистым и красивым голосом дяди Миши, вдруг оказавшимся в песне таким грустным и даже печальным... И если его что и волновало под звуки песни в ночи, когда он смотрел в широкое ночное звездное небо, так это то, как они будут съезжать с крутой горы у поселка Красная Самарка на мост через реку.

Из-за крутизны берега обычно в этом месте лошадь брали под уздцы, в спицы задних колес рыдвана вставляли черенок от вил, и юзом, не спеша, оставляя глубокие следы в желтом мокром песке, пытались попасть на узкий скрипучий мост. Шурка озибался на возу, смотрел: вил не было. Темная ночь, да еще мерин Карий, ослепший недавно на один глаз, постоянно забирал влево так настойчиво, что правую вожжу приходилось держать натянутой, отчего быстро уставала рука. Да и меренок Цыган, семенивший в паре, часто от этого сбивался. Но вожжи были в руках дяди Миши. Такого уверенного и прочного, и Шурке казалось, что все будет как надо...

И все-таки было жутковато: а вдруг рванет дремучая лошадиная сила Карего сослепу в сторону... и пошло, поехало...

Тягомотина

То, что колодец вырыт, – не значит конец всем делам. Сердце у Шурки екнуло, он только начал собираться на рыбалку в компании с Мишкой и Женькой Ресновым, а тут голос отца за спиной:

– Шурка, прекращай шалберничать, надо те три лесины, которые лежат на задах, ошкурить.

Три большущих осокоря вчера притащил волоком на тракторе Яндаев, вспоров по пути в переулке на гати залежи золы и мусора. Осокори надо еще «расхетать», как говорит отец, то есть распилить на бревна, обрубить сучки. Отец торопится, хочет все делать одновременно. Надо, чтобы дерево подсохло и можно было везти на пилораму. Обычное дело: как на рыбалку собрался – так возникает отцовское задание, словно нарочно. Неудобно перед ребятами – Шурка их подводил уже, ведь он главный в рыбацких затеях. Он пошел в мастерскую, взял топор, остро наточенный отцом и грустный зашагал на зады к осокорям. Сел на прохладный с матовым оттенком, как у свинца, большой рычаг-сучок. Было удобно, дерево такое массивное, что его трудно раскачать.

Невольно вспоминались стихи, которые он сочинил совсем недавно, после такой же примерно истории и которые еще никому не показывал, даже дядьке Сергею:

Жарко

Перекасти-поле по пыли
Катится вприпрыжку,
Дремлет стая сизарей
На пожарной вышке.
Не шумаркнет, тихо все.
Льется зной тягучий,
Пар клубится целый день
Над навозной кучей.
Но смотри, смотри – растет
Тучка над детсадом.
Эх, на речку бы сейчас!
Да работать надо.

С некоторых пор, особенно после разговора с дядькой Сережей, стихи часто стали получаться у Шурки. Он иногда даже не знал, что с этим делать. В самый неподходящий момент: на прополке, на стадионе, на рыбалке – везде, где нужна сноровка, на Шурку находило состояние, когда он отвлекался от всего постороннего и уходил в себя.

– Ты какой-то рахманный стал, Шурка, рохлей, – сказала один раз ему мать.

– Влюбился поди, – высказала догадку бабушка Груня и засмеялась.

– Пройдет, это такой возраст, «Такой возраст, – повторил про себя Шурка, – какой возраст? Я ведь и не влюбился вовсе!» И вдруг обожгла другая мысль: «Значит уже положено влюбиться, и в этом нет ничего плохого, хотя еще не взрослый».

Пришли Мишка с Венькой с Приказного озера, где копали червей.

– Во, – сказал Мишка, – с ночевой хватит.

– С ночевой, – повторил Шурка, – а вот этого, – он показал на дерево под собой, – до завтра мне хватит.

– Что, как всегда боевое задание, – скорее подтвердил, чем спросил Венька.

– Угу, – мотнул головой Шурка.

– Вот это тягомотина! – выдохнул Мишка.

– Ерунда, – сказал Венька и как-то по-полководчески, поставив ногу на сучок, оглядел район действий. – Три дерева всего? – спросил он, ни к кому не обращаясь. – Три, – подтвердил он сам себе, – значит по одному на нос. Будем тянуть тройной тягой!

– Чего? – спросил Мишка.

– Ну ты же говоришь – тяга Мотина, а я говорю – тяга наша, троих, а не одного Мотина.

Шурка вспомнил дядьку Мотина, жившего на дальнем краю села, который развозил на дрожках горячее по полевым станам, его вечно понурюю лошаденку, похожую на слепую Карюху, которая крутит колесо на ческе шерсти в промкомбинате, самого Мотина – сонного и полупьяного, и ему стало почему-то весело.

«Тяга Мотина, – придумал же Венька в очередной раз штуковину какую. Откуда у него это?»

– Шурк, давай еще два топора, до обеда сделаем и мотнем с ночевой. Че раскис? А лучше: тащи лопаты, ими хорошо шкурить, я знаю.

– Сейчас! – Шурка метнулся к отцу, обрадованный таким поворотом дел. «Только бы Янин сегодня не успел и не приволок еще штуки три таких с делянки. Тогда никакая тройная тяга не поможет, – подумал Шурка на бегу, – а так мы быстро управимся и вечером будем на Ледянке, может, на сомят посидим».

В грозу

– Смотри-ка, рона, бороньим зубом махнуло, – не то восхищенно, не то опасливо сказал дед Иван, показывая на огромный росчерк молнии над головой.

Не успел Шурка переспросить, как вслед за ярким светом грохнуло над головой так, что вздрогнула земля, а на небо стало страшно смотреть. На том берегу Самарки полыхнуло пламя – одиноко стоящий вяз враз надломился пополам и загорелся.

– Во дела, а я думал стороной пронесет. Сергей, мерекнешь? Беги к Ракчеевым на стан, они у Кривой ветлы чилигу режут, веники вяжут, попроси бредень, если они сами не будут рыбачить. Красота в грозу-то водить, непременно с уловом будем.

Серегу не надо просить дважды. Толкнул лодку – и на той стороне.

– В грозу, как и в ледоход, вся рыба к берегу жметя.

– А почему так? – Шурка удивленно смотрел, как после каждого удара грома мелкая рыба выпрыгивает над водой.

– Ну, Илья-пророк разошелся, – пристально взглянув на небо, произнес дедушка.

– Какой Илья? – тут же переспросил Шурка.

– Как какой? Заведующий небесными делами.

– Деда, ты веришь в Бога? – Шурка спросил и сам испугался своего вопроса, а может быть, ответа, который непонятно как потом что-то обязательно изменит в Шурке.

– Верь не верь, а что-то вокруг нас есть такое, что нам не дано понять.

– А что вокруг нас?

– Все, кто умер, – просто и с какой-то легкой решительностью сказал дедушка, – души их вокруг нас всех, и они мучаются. Вдруг это так?

– От того, что кто в аду, кто в раю, да? – выдохнул Шурка.

– И от этого, но я о другом. Они не могут нам сказать, что загробная жизнь есть, они не могут нам доказать, а мы не верим в их жизнь. Вот так и живем как бы на разных берегах, они нас видят, хотят помочь нам, хотят неразумность нашу поправить, подсказать задним умом, как надо правильное жить, а не могут. Они видят, а мы слепы. В этом наша беда, может. Ну-ка, Шурка, давай уйдем подальше от стана, а то тут железа много: коса, телега... не быть бы беде, видишь, как молния-то бьет!

Они встали и ушли по отмели к красноталу. Отсюда сверху реку можно было видеть всю в ширину – до противоположного берега. Напротив, еле-еле в темноте густого леса, угадывался Кунаев ключ, летом пересыхавший, но хранивший в себе сумрачность, заболоченность и великое множество комаров. Но это Шуркой не воспринималось как враждебность Ключа к людям. В нем было много и щедрот – черной смородины и ежевики.

– Летось, вот в такую же пору, Авдей шел с вилами вечером с поля: ахнуло по железным вилам – и нет Авдея, бабенкам хоть бы хны, а он лежит почерневший весь. Одногодок мой, вместе в Царицыне служили в царской еще армии, вместе ушли домой. Так вот.

– Деда, зря, выходит, мы два дня старались с перетягами-то, сом уж точно сегодня на охоту не выйдет, а?

– Наверняка так. Не повезло нам.

Два дня назад они с дедом двумя перетягами перегородили в двух местах Самарку так, что яма, из которой выходил на плес сом, оказалась между ними. Сом приметил недели две назад Серега и подбил отца, пока сенокос здесь рядом у Самарки, попробовать счастья. У деда в погребнице всегда висели плетеные из суровых ниток, толстые в карандаш и длиной в метр, поводки. Крючки были самодельные из пружин от сиденья велосипеда, откованные покровским кузнецом. Еще засветло вчера в намеченном месте были воткнуты колья, и две перетяги заняли свое место, шумно хлопая бечевой по речной глади. Чуть позже, уже в сумерках, Серега

ненадолго отлучился и принес в ведре с водой мелочь: сорожку, карасей. Оказывается, в старике заблаговременно была поставлена сетка. Наживку поехали ставить втроем, и Шурка, сидя на носу лодки, видел все таинство действия.

Бечеву пропустили через нос и корму, лодку течением потянуло вниз, перетяга поднялась над водой и, натянувшись как тетива, держала лодку поперек течения реки.

Не спеша прямо в лодке дедушка ловкими движениями привязывал поводок к перетяге. Сережка насаживал живца, бережно и одновременно решительно прокалывал крючком чуть ниже спинного плавника. Четырех самых больших карасей, по полкило каждый, по два на перетягу поставили в самом глубоком месте – в десятке метров от противоположного берега. Получилось по пятнадцать поводков на каждой перетяге. Совсем уже ночью Серега поджарил на углях ворону и тоже нацепил на поводок.

– Для запаха, и вообще, – он щелкнул языком, – только ленивый чудака не возьмет нашу наживу.

Но сом не брал. Он вообще лишь в первый вечер дал о себе знать один раз: так ухнул меж двумя перетягами, что мелочь шарахнулась в разные стороны. И все. Будто засвидетельствовал свое присутствие, а там как хотите. Вторые сутки нажива была не тронута.

– Теперь понятно, почему сом не гуляет, – нарушил тишину дедушка.

– Почему? – торопливо подхватил Шурка.

– Ты же видишь погода какая разгулялась. Не по его натуре.

Напрасны наши труды. Он не выйдет на охоту, ему нужна светлая, спокойная ночь. Обычно сома ждут три ночи. Если не выйдет охотиться, на то обязательно своя причина.

Бороний зуб, про который говорил дедушка, так снова царапнул по небу, что оно как будто все загорелось от этой спички, и враз все содержимое внутри этого большого и необъятного пространства, заключенного в обычно покойную днем оболочку, рванулась со светом и чуть запоздало звуком вниз на землю: на Самарку, рыдван, Карего, который рванул с места, и стреноженный, громко заржал. И из этого ада, из невероятной череды яркого света и густой тьмы появился Серега с бреднем на плече:

– Живы?

– Как Ракчевы там?

– Хотели сами рыбачить, да тетя Мариша не разрешила, боится за них. Пошли? А то уйдет гроза.

– Мне кажется, что уже уходит в сторону Кротовки.

Шурке и хотелось попробовать порыбачить, и все-таки не верилось, что дед решится.

– Держи, Шурка, мешок, будешь рыбу собирать, а ты Сергей вглуби пойдешь?

– А чего мне, пойду, – Сергей шагнул к воде.

Быстро размотали бредень, расправили мотню, и вниз по течению потащил клячу, дедушка брел по колено в воде, намеренно далеко отставая от Сереги. Удивительно для Шурки: чуткий и быстрый подуст, которого обычно ловили с лодки днем со всеми мерами предосторожности, сейчас сам шел в бредень на мелководье, вода от него, когда он шел стаями, казалось, кипела. Три раза вывели бредень, и Шуркин мешок отяжелел от бели. Было там и несколько раков, которые оказались совсем некстати: кололись – нельзя мешок взгромоздить на спину. Но он их не выбрасывал. Шурка уже представлял себе, как, едва взойдет солнце, будет варить раков в котелке, пока дед точит косу.

– Никак зацепился? – крикнул приглушенно дедушка, и Шурка побежал к рыбакам.

– Наверно, топляк здоровенный, – сказал глухо Серега и, подтащив клячу к берегу, воткнул ее и направился к мотне. И в тот же момент – там, где ожидалась коряга, в самой мотне что-то взбурлило, зашевелилось огромным пугающим комом, и Серега закричал:

– Сом, сом-голубчик, вот он!

Сверкнула молния, и Шурка совсем отчетливо увидел Серегу и под ним огромное черно-белое чудище. В следующий момент подоспевший дедушка схватил вместе обе клячи бредня, стараясь свести крылья бредня воедино, чтобы преградить выход сому, споткнулся и упал в воду. Серега метнулся на берег, увидев в высверках молнии воткнутый на песчаной отмели белеющий осиновый кол. Это и решило исход схватки.

Шурка подошел совсем близко. Серега выволакивал по мели спутавшийся напрочь бредень, спеленавший огромную рыбину.

Около костра Шурка лег рядом с сомом. Рыбина оказалась намного длиннее его тела – на целую вытянутую руку.

– А как вы думаете, это тот, которого мы хотели поймать?

– Здорово было бы, если это его младший брат! – засмеялся Серега.

– Я днем отвезу рыбину, а вы понаблюдайте, и все станет ясно, перетяги пока не снимайте, – распорядился дедушка.

И только он это сказал, на реке знакомо ухнуло так, что Серега даже вскочил.

– Мать честная, да ведь правда, их два. Вот дела!

– Вот ведь какой коленкор, – сдержанно удивился дедушка и почесал затылок.

На пилораме

Стены избы Любаевых поднялись удивительно быстро. Народ собрался дружный, на помочах это самое главное. Командовал, конечно, Василий Федорович. Отец не указывал пальцем, не махал руками – он просто и спокойно говорил, как и что нужно делать, и все с охотой подчинялись, удивляясь его смекалке.

– Василий, тебе бы командармом быть или председателем нашего колхоза, а ты таишь в себе эту жилу, – сказал не умеющий долго молчать шкодливый Андрей Бесперстов.

– Не балабонь и не мучай кирпич, а смахни под ним на четверть штыка горбушку-то земляную с левого края, он и ляжет, – отвечал Василий Федорович.

– Я еще только примеряюсь, – оправдывался Андрей, укладывавший с напарником в траншею первый ряд самана.

Шурка с отцом только вчера наметили размеры дома. Он по команде отца вбил колышки по всему периметру, отметив тем самым, где копать траншеи под стены, а сегодня утром дружная команда все быстро сделала. Прямоугольник из траншей был готов: девять метров в длину и шесть в ширину. И теперь изба росла прямо из этой траншеи. Раствор для кладки делали тут же, внутри будущей избы из той самой земли, которая должна была остаться под полом, добавив немного глины.

У Шурки была своя обязанность: он подтаскивал с задов и распределял по периметру кладки хворост. Его использовали для связки.

...Прошла неделя как стены стоят, а вот прорваться на пилораму все не получается: то она сломана, то лесхоз своим сотрудникам пилит. Но дошла очередь и до Любаевых.

Ошкуренные и подсушенные осокори привезли на распиловку за поллитровку водки; отец сходил к чайной и подрядил одного бойкого парня и на грузовике все за два раза доставили.

Пилорама – первая серьезная машина в жизни Шурки. Правда, он бывал на ческе шерсти в промкомбинате, где по кругу ходит флегматичная буланая лошаденка, приводя в движение механизмы, бывал на паровой мельнице. Но это же не сравнить с тем, что он увидел. В огромном деревянном сарае, стены которого были сбиты из широченных досок, стояла загадочная машина, хотя и черного цвета, но очень похожая на большого кузнечика. Механизмы машины, затягивающие в себя бревна, похожи были на ноги кузнечика с высоко поднятыми коленками. И визг, и скрежет пилы тоже чем-то отдаленно напоминали этих сельских повсеместных обитателей.

На пилораме царил запах дерева. Вороха опилок, весь воздух в сарае пропитаны лесом, песком, Самаркой. Шуркины осокори лежали уже под навесом справа от тележек, катающихся по рельсовой дороге. Команда из трех человек: Василия Федоровича, Степана Синегубого и Шурки ждала своей очереди. «Все как на паровой мельнице: очередь и опилки вокруг, как мука, лезут за шиворот», – подумал Шурка и засмеялся.

– Ты чего, Шурк, развеселился? – спросил отец.

– Да так, я вспомнил, как мы с дедом на мельнице ждали своей очереди, сидя в телеге на мешке с пшеницей-белотуркой. Впереди нас лошадь у дядьки сорвала шапку с головы, он перепугался, еле отобрал шапку – завязка между зубов у лошади зацепилась узлами, и он просил у лошади отдать, а хозяин лошади матерился.

– А чего ж он матерился? – лениво переспросил Синегубый.

– А чтоб завязки нормальные были у шапки.

– Хорош мужик. Его б к нам на фронте старшиной, цены б не было, – констатировал Синегубый и, чуть помолчав, снова спросил Шурку: – Ну как, это братское кладбище нравится?

– Какое? – Не понял Шурка.

– Ну, пилорама? Жили-были деревья. Раз – и нет их, есть опилки и доски. Доски постоят два десятка лет и сгниют. Все прахом полетит. А были деревья: зеленые, птицы в них пели.

– Чего ты, Степан, голову дуришь парню, делать нечего? – строго сказал Шуркин отец.

Шурка опешил от рассуждений Синегубого. У него тоже такая мысль была. Она обожгла его там еще, на делянке, когда пилили с Веней эти самые осокори. Но тогда, глядя на жизнерадостного Веньку, он отогнал эту мысль как глупость, подумав, что такое может прийти в голову только случайно и не взрослому. Шурка же хотел быть взрослым. Но вот и Синегубый, воевавший, раненый, контуженный, закаленный, тоже думает об этом.

– На, Шура, будешь подсоблять класть бревна на катки и подавать на распил, – отец протянул толстый с кольцом сверху лом. – А ты, Степа, близко к машине не подходи, от греха подальше, здесь твоим глазам видней, тут будешь.

Василий решил все осокори прогнать на «двадцатку» для теса на крышу.

Без рукавиц работать ломом, да таким тяжелым, было непривычно, но Шурка при каждой загрузке старался делать все ловко и ритмично.

Ему нравились отточенность и определенность движений. Но он быстро понял, что надолго его не хватит – выдохнется.

– Дядя Вась, у вас дома беда, – с ходу выпалил Колька Зинин, появившийся в широком проеме ворот пилорамы, там, где начинались рельсы узкоколейки.

– Говори, – властно сказал Любаев.

– Ваша Надюха обьелась белены, я спотыкошки прямо к вам, тетя Катя послала, ее всю колотит.

«То куриной слепоты наберет, то вот теперь белена... Эх, Надюха, Надюха», – только и успел подумать Шурка.

– Бесамыга такая, – обронил Василий. – Степан! Тут без меня с Шуркой продолжите дело? Мне идти надо.

– Отчего же не продолжить? Продолжим... – отозвался тот.

Любаев, поменяв лом на бадик, ушел.

В ревунах

Головачев этой осенью подрядился на пару с Гришей Ваньковым сторожить бахчи в Ревунах. Ревуны – это цепь озер за поселком Красная Самарка в сторону Малой Малышевки.

Говорят, что Ревуны – бывшее русло отступившей от этих мест влево Самарки. Разбухающие весной от полой шальной воды, соединяясь в единую реку, они шумят и ревут, неся мутные потоки до тех пор, пока там, в верховьях Самарки, на чистом степном просторе, иссякнет запас водной лавины.

И станут Ревуны на лето тихим убежищем для уток, выпи, лысух и всякой мелочи, летающей, порхающей и бегающей. И будут глядеть из-под крутых берегов через заросли на небо озера своими тихими сузившимися зрачками.

...Больше всего нравилась Шурке дорога на бахчи в Ревунах. Чаще всего в гости к деду Шурка добирался на велосипеде. Путь не длинный, но не из легких: за Самаркой песчаные дороги особенно тяжелы, колеса вязли в песке, и часто приходилось останавливаться. Но зато какие подарки щедро дарила дорога. После моста, когда Шурка ехал из Утевки, едва взобравшись на крутой берег Самарки и еще как следует не успев насладиться простором, избытком синевы неба и воды, нырял он в глубокий овраг, дорога пересекала его строго поперек, обрамленная слева старым лесом, а справа – талами, скрывающими ответвление дороги на лесной кордон в Моховом.

На одном дыхании дорогу через овраг Шурке одолеть еще не удалось. Каждый раз он преодолевал его пешком. После прохладного песчаного оврага вновь подарок – большущий песчаный плешистый курган. Здесь, на подъезде к кургану, Шуркина душа каждый раз вздрагивала, и он начинал невольно озираться, как бы пытаясь найти опору, за которую он, зацепившись, удержался бы и не упал в какую-то пропасть, которая так или иначе связана у Шурки со словом вечность. Эта опора сама собой появлялась лишь только тогда, когда он вплотную подъезжал к кургану и переставал его видеть издали; вблизи курган закрывали деревья, дедушкин шалаш на бахче, предметы быта, омет, заботы разные... Только здесь уходило ощущение, что он завис где-то, на каком-то ненадежном канате над бездной, и она его готова проглотить.

...Совсем другое дело дорога назад с бахчей в Утевку. Шурка любил, миновав овраг, выбраться на ровное место, где он намеренно брал резко влево к Баринову дому. Перед глазами возникало удивительное зрелище: внизу слева направо от Покровки и, оставляя слева от себя Утевку, уютно лежала, как домашняя кошка, река Самарка, поросшая по берегам чаще всего осинником и талами. Подсвеченные золотистым песком, воды ее отражали и излучали добрый свет и солнечную радость.

Село Покровка – прямо под Шуркой, с высоты птичьего полета можно смотреть на красивую, облитую лучами закатного солнца церковь. Утевка – там, далеко, за Самаркой, за полоской леса, за редкими прямыми столбами дыма рыбацких костров, до нее километров пять, но церковь хорошо угадывалась. В отличие от Покровской, купол ее – светлый, кряжистый – излучал такую светоносную волну, что она ощущалась физически.

Когда Шурка стоял здесь наверху и видел эту манящую даль, коршуна, реющего в свободном полете там, внизу над Самаркой, ему иногда казалось, что стоило только неосторожно шевельнуть руками и он тоже воспарил бы над этим простором. Что чудо заложено где-то здесь, оно во всем, что его окружало, и была только совсем незаметная грань, которая вот-вот нарушится, и тогда все, признав это чудо, начнут ликовать, как ликовало Шуркино сердце...

Было еще одно чудо в этих Шуркиных местах: незамерзающий родник, который выходил из-под кручи вниз к Самарке, не поддаваясь самым лютым морозам.

В Утевке и около нее мало берез, считанные единицы, а здесь, начиная с Баринова дома, стояли вначале колки берез, а затем они переходили в сплошной березовый лес! К этому Шурка привыкнуть не мог.

...Шурка на бахче второй день один – взрослые уехали домой.

Дядя Гриша – на какую-то комиссию, дедушка – за продуктами, но почему-то задержался.

Шурка решил сварить суп из добытой вчера кряквы. Сев на чурбачок и поставив у ног тазик, он начал ощипывать задеревеневшую тушку.

Залаял Цыган. Шурка обернулся: со стороны оврага из зарослей выходили двое, оба с ружьями. У одного, смуглого – ружье в руках. Шурка метнул взгляд на шалаш, там лежала его одностволка. «Не успеть, – мелькнула мысль, – рядом уже... что же ты, Цыган, прозевал, подвел?» Незванные гости подошли к Шурке, и он враз успокоился. По всему было видно, что это серьезные охотники. У обоих были рюкзаки, каждый опоясан, набитым богато патронташем.

– Что, один? – спросил чернявый и огляделся вокруг.

– Один, – ответил Шурка и насторожился вопросу.

– Тогда примешь, хозяин, гостей? – вновь сказал чернявый.

– С ночевой?

– Да нет, парень, перекусить да чайку попить, – ответил уже тот, что постарше и посветлее.

И хотя Шурка больше не успел ничего сказать, чернявый по-хозяйски притулил ружье к двери шалаша и, сняв рюкзак, повалился на землю:

– Весь день прошлялись и ни фиги, это надо же, а пацан кряквой забавляется, а Андрей? Шурку кольнуло то, каким тоном было сказано о нем, и он буркнул:

– Сейчас ветер дверь тронет, и ваше ружье будет на земле, в пыли.

Тот, которого называли Андреем, вдруг весело рассмеялся:

– Алик, получил?

– Да... – протянул Алик, – уважай мастера. Он встал и повесил ружье вверх стволами на сучок дверной дубовой сохи.

Они рылись в рюкзаках и переговаривались.

– И все-таки, чтобы закончить нашу тему, скажу, Андрей, она талантливая актриса, но нельзя же так... – Он помолчал, очевидно подбирая нужное слово. – Нельзя же делать такие, понимаешь, чикибрики, хоть ты и нравишься многим, включая и главного режиссера.

– Да, да, понимаешь, в этом есть что-то возрастное, переходное... Пройдет. Но главная роль все равно как будто только для нее написана. Да? А ты почувствовал, какая она партнерша на сцене?

Шурку прошиб пот. Перед ним были артисты и не какие-нибудь, Шурка сразу понял по манерам, по тому, о чем они говорили и как, настоящие, из серьезного театра. Видеть живых артистов так близко, с ружьями, на бахчах! Разговаривать с ними? Это было как сон. Он ступал, не зная, как себя вести.

– Можно же на столике разложить, зачем на земле, – сказал он нерешительно.

– Ах да, конечно, спасибо. – Андрей поспешил исправить свою оплошность, положив на стол завернутый в марлю кружок черного городского хлеба.

«Ну охотники-то из них не ахти какие, должно быть», – немного приходя в себя, подумал Шурка.

– А мы вот без пера, – живо сказал Андрей, – может, еще на вечерней зорьке душу отведем.

– Как же на вечерней, если вы ночевать не собираетесь?

– Собираемся. Тебя как звать? – откликнулся Алик.

– Александром, – неожиданно для самого себя ответил деревянным голосом Шурка.

– Ну вот, Александр, у нас на кордоне у Репкова машина, а сами мы из Самары, на кордоне и ночуем. Ты нас не бойся.

– С чего вы взяли, что я боюсь? Я вот думаю: почему вы до сих пор арбуза не просите, – осмелев, сказал Шурка.

Алик так громко захохотал, разинув широкий рот и сверкая белыми, безукоризненно ровными зубами, что Шурке показалось: это не очень нормально, будто бы он так сделал специально, чтобы ослепить Шурку белизной своих зубов, или прорепетировал смех на всякий случай.

– Если угостишь арбузом, покажу и научу, как есть его. Пойдет?

«Вот нахал, научит есть арбуз... тоже учитель!» – подумал Шурка, но ноги сами его подняли и понесли на арбузные ряды.

А в спину летел гортанный голос Алика:

– Александр, для всех надо два арбуза!

Шурка вернулся к столу с двумя «победителями». Гости уже разложили свои запасы на столе. Непривычно для Шурки крепко пахло копченой колбасой; о ней он только слышал, но никогда не ел. Он вообще не мог вспомнить, когда ел обычную колбасу, а тут такие запахи.

Андрей, взглянув на Шурку, отрезал солидный кусок колбасы и положил перед ним:

– Мы попробуем твоих арбузов, а ты нашу еду.

Шурка смотрел на его руки и думал: «Как у деревенского мужика, только очень чистые. Интересно, откуда он родом, может, родители, как у меня, – деревенские?»

– Я суп хотел варить, – опомнился Шурка.

– Да ладно, не надо – это долго, – сказал Алик, – мы хотим на вечерней зорьке посидеть.

Колбаса лежала рядом, Шурка смущался, начиная сомневаться: а вдруг она почищенная уже, а он начнет чистить, ведь не видно кожурки-то, вдруг они засмеются. Он выждал, когда Андрей начал очищать кусок, и только тогда потянулся за своим.

– И часто ты крякву бьешь? – спросил Алик.

– Каждый раз, – сказал Шурка.

Гости многозначительно переглянулись.

– А как ты охотишься? – поинтересовался Алик.

– Просто, – успокоившись, отвечал Шурка, – в одежде и сапогах, чтобы не порезаться, захожу в озеро и иду из конца в конец. Они днем в камышах прячутся. На взлете, когда крылья вразмах, а скорости нет, – только и бить. Так надежнее, не спутаешь с лысухой – заряд сбережешь. Обычно беру с собой один, ну два от силы патрона, чтобы не жунять бестолку заряды. Тут, в Ревунах, их много, но надо спугнуть из зарослей.

– Молодец, – сказал Алик, – ты нам свою науку преподал, а мы тебе свою за это.

«Вот бы нечаянно заговорили про театр», – со слабой надеждой подумал Шурка. Но Алик взял нож и, разрезав арбуз пополам, положил одну половину перед Шуркой, ножом почикал несколько раз яркую красную мякоть.

– Деревянная ложка есть? Бери и ложкой с черным хлебом ешь как из миски.

Шурка зачерпнул ложкой мякоть вместе с соком и попробовал. Было вкусно, удобно и необычно.

Они доели свои порции быстрее, чем Шурка свою. И случилось то, чего он так не хотел: гости стали быстро собираться на дальний конец Ревунов, на большой плес на зорьку.

– А чай? – растерянно спросил Шурка.

– Хозяин, ну какой чай после арбузов, – Алик уже стоял на тропе.

– Спасибо за хлеб-соль. Привет от солнечного Азербайджана.

– На, возьми, тебе, я знаю, надо, – сказал подошедший Андрей и положил на похолодевшую ладонь Шурки три новеньких бумажных патрона. И артисты скрылись в зарослях боярышника.

Чивер и голуби

Мать Шурки через день готовила поросенку Борьке болтушку: смесь отрубей, остатков еды и травы заливается в баке горячей водой и потом хорошо размешивается скалкой.

– Шурка, нарви мне тазик жирнухи, я сделаю Борьке болтушку.

Шурка покорно взял в сельнице выдавший виды тазик и пошел мимо поросенка Борьки, умиротворенно хрюкающего в пыли за сеньями.

В проулке, за гатью, поставив тазик в самую гущу лебеды, Шурка рвал отяжелевшие макушки запыленной со свинцовым оттенком травы и целыми пригоршнями бросал в тазик. Неожиданно как из-под земли вырос перед ним Мишка Лашманкин.

– Подкараулил? – первое, что пришло в голову, сказал Шурка.

– Не бойся, Коваль, – миролюбиво ответил Мишка, – мне нужна твоя помощь. Неужели, думаешь, буду драться?

– Чего еще, – не понял Шурка, – я тебя никогда не боялся.

Мишка сел около тазика и с не свойственной ему растерянностью в лице, пошарив в карманах, вынул пачку «Севера». Щелкнув пальцем по ней, протянул Шурке выскочившую наполовину папиросу.

– Я не курю.

– Ну ладно, как хочешь.

– Говори, что надо.

Шурка все еще осторожничал и поглядывал поверх травы: нет ли где спрятавшихся Мишкиных друзей, готовых врасплох напасть. Ведь одно дело, что он помог ему, когда была беда с ногами, другое дело сейчас.

– Дай мне ружье на один только вечер. У тебя есть, я знаю.

– Зачем тебе?

– Вернулся Илья Бедуар, ну, отсидел два года. Знаешь такого?

– Еще бы! Только он – Бедуар, а не Бедуар.

– Какая мне разница, – сплюнул смачно Мишка. – Он подсылает ко мне Чивера.

– А кто такой Чивер?

– Есть такой. Генка Горбунов, в том приходе шурует со своей гопкомпанией, они на побегушках у Бедуара. Я должен был три дня назад отдать им Гривуна, которого купил в Покровке, – они же голубятники заядлые. Не отдал, а спрятал. Теперь сегодня придут домой вечером – всех заберут.

– А родители?

– Они в Баринке, на свадьбу поехали.

– Ружье не дам, – твердо сказал Шурка, – нельзя на людей с ружьем.

– Они грабители, а ты – «нельзя». Ты просто боишься, да? Выручи, я только пугну, а за это должок будет за мной, другом буду. Этих гавриков нельзя пускать в наш конец, всех потом подомнут, понял? Стоит один раз струсить, и потом... Я ведь тебе помог тогда на задах.

Шурка задумался.

– Когда придут?

– Наверняка перед танцами в клубе, часов в восемь.

– Хорошо, я сам приду с ружьем.

– Не обманешь?

– Слово даю.

У Шурки созрел план. Весь его опыт общения с охотниками, взрослыми, которые, не сговариваясь, доверяли ему иметь свое ружье, говорил ему, что нельзя делать того, о чем просил Мишка. И он нашел, как ему показалось, выход.

Придя домой, он взял два заряженных патрона, выковыряв бумажные пыжи и вытряхнув дробь, пошел на кухню. Насыпав на ладони из стеклянной поллитровой банки соли, внимательно осмотрел серый бугорок на свету и остался недоволен: соль была мелкая, и не верилось, что она может заменить дробь в патроне. Высыпая соль обратно в банку, споткнулся взглядом о мешочек с пшеном. Это и было то, что нужно. «Конечно, я стрелять не буду, – успокаивал себя Шурка, – если уж на самую крайность, то в воздух».

...Он подошел к дому Лашманкиных в половине восьмого вечера.

– Вот здорово, – ликовал Мишка, – я всегда тебя считал мировым парнем!

– Я стрелять в людей не буду, – возбужденно сказал Шурка.

– Да и не надо, пальнем поверх голов и то хорошо.

Трое подростков появились с дальнего порядка улицы и шли уверенно и нагло.

– Они, – возбужденно сказал Мишка, – я прятаться не буду, – нельзя, а ты встань за плетень и пригнись.

Шурка зашел за плетень, отделявший двор от огорода, потоптался и присел за кустом сирени.

Во двор они вошли с форсом. Чивер, его Шурка сразу определил по нагловатой ухмылке и по тому, как заискивающе вели себя перед ним двое остальных, с ходу поддел консервную банку у входа, и она, сделав вираж, опустилась едва ли не на голову Шурки.

– Конец тебе, Мишка, – сказал тот, что был ближе к сирени, – сейчас козлиную смерть тебе будем делать. Не принес Гривуна, пеняй на себя.

Шурка видел, как побледнел его приятель, но остался стоять на месте. Страшная эта штука – козлиная смерть. Ее делали обычно так: двое держали провинившегося, а третий указательными пальцами с двух сторон начинал как шилом давить за ушами прямо за мочкой, в углублении. Чем сильнее жмут, тем нестерпимее боль.

– Неси Гривуна – и делу конец, – по-хозяйски сказал Чивер. – Некогда нам рассусоливать, колготу разводить. Он это не любит.

Чивер сказал «он», и от этого тень где-то живущего на том конце села Будуара стала угрожающе большой.

– Гривуна нет, – твердо сказал Мишка.

– Где он, говори! – почти по-военному, властно сказал Чивер и в один ловкий прыжок оказался вплотную с Мишкой, мгновенно заломив ему правую руку за спину.

– Ребя, вали его саманную голубятню, чего цацкаться, хватит ему люсить!

Шурка выскочил из-за сирени, положил одностволку на плетень и скомандовал:

– Отпусти Мишку!

– Еще чего? А хо-хо не хе-хе?

– Стрелять буду, – возбужденно выкрикнул Шурка.

– Кишка тонка стрелять, – сказал Чивер и выставил впереди себя Мишку.

– По ногам жажну, – подтвердил Шурка и, взведя курок, направил ружье на того самого, который обещал козлиную смерть. Глаза их встретились.

– Чивер, он пальнет – это точно, – взвизгнул тот, затравленно оглядываясь на калитку, – Ладно, кина не будет, – оттолкнув от себя Мишку, сказал Чивер, – но не попадайтесь теперь на глаза!

Когда они скрылись за калиткой, подошедший к плетню Мишка сказал, кивнув в сторону Чивера:

– Отошла коту масленица, екорный бабай!

– А что это такое?

– Что? – не понял тот.

– Ну, екорный бабай.

– А я откуда знаю? Так Бедуар говорит, – ответил Мишка, и они оба расхохотались.

Когда смех прошел, Шурка спросил:

– А что это за голубь – Гривун?

– Ты не знаешь? – удивился Мишка.

– Нет.

– Гривун – это чистобелый голубь. Такую породу вывел еще граф Орлов. Он очень красивый, На загривке треугольник коричневого либо красного цвета. У моего коричневый.

– Ты это все не придумал? – засомневался Шурка.

– Да ты что, обижаешь, я тебе его покажу, только чуть позже.

Ладно?

– Ладно, – согласился Шурка.

...Оба они понимали, что на этом дело не кончится. Быть им битыми и жестоко. Но все обошлось как-то по-странному просто. Через неделю, собравшись на рыбалку, они пошли на Приказное озеро за червями. На Приказное можно идти двумя путями: мимо школы и вдоль магазинов, где слева от продмага стоит пивнушка. Вот этой, мимо магазинов, дорогой они и двинули. Когда до пивного ларька оставалось метров пять, от него отделились три фигуры.

– Что делать, Коваль?

– Поздно, иди как шли.

– Стоп, команда! – сказал неожиданно звонким голосом Будуар.

Они продолжали путь. Шурка бросил взгляд на ларек, у которого стоявшие парни заинтересованно стали смотреть на происходящее.

Остановившись, Шурка краем глаза заметил, как Мишка отстегнул с пояса широкий ремень с тяжелой бляхой. «Ни к чему это, – успел подумать он, – даже смешно».

Чивер выскочил вперед, но его остановил Будуар.

– Погодь, – отстранив его рукой, сказал он. – Кто был с ружьем?

– Ну я, – выдохнул Шурка и почувствовал, как задрожали руки.

– Стрельнул бы тогда?

– Не знаю, – овладев собой, ответил Шурка. – Как бы дело пошло, так я и сделал бы.

– Ишь ты какой, не ожидал, – сказал Будуар, покосившись на толпу у пивнушки, куда подошел бойкий Петька Стрепеток в окружении трех рослых парней из Золотого конца. Со Стрепетком Шурка в прошлом году был на сенокосе в одной артели. Тот зорко глянул на Шурку, потом на Будуара и вмиг понял, что происходит.

– Коваль, привет, пиво пьем?

– Нет, – неуверенно ответил Шурка.

– Правильно делаешь, а мы вот жаждем по парочке кружек. А ты, Будуар? Пошалберничаем? Стервецы, – обратился он к своим приятелям, – занимаем очередь!

И подошел в самое ее начало, «стервецы» последовали за ним.

– Будуар, пиво у Пупчихи киснет, не тяни.

«Вот где талант пропадает, – подумалось Шурке, – его бы к нам в драмкружок к Валентине Яковлевне. Как он ласково пугает этих дуrolомов!»

– Чивер! – властно, по-хозяйски произнес вожачок Будуар.

– Я, – откликнулся на все готовый его подручный.

Будуар выдержал глубокомысленную паузу и изрек:

– Ты этих ребят не трожь и своим скажи.

Он еще раз осмотрел с ног до головы подростков и сказал с особым значением, чтобы слышали у пивнушки:

– Это наша смена!

И отошел довольный собой. За ним игриво зашагал Чивер, припевая:

«Он вошел в ресторанчик чекулдыкнул стаканчик и велел всех ребят напоить».

– Ничего себе оценили нас, – хихикнул неуверенно Мишка, когда они уже копали червей. – Кто мы теперь с тобой?

– Будуарчики! – ответил Шурка, не задумываясь.

Им почему-то вдруг стало весело. Мишка притворно упал на зеленую кочку и дурашливо завопил:

– Ой, держите меня, а то упаду. О кочкарник ушибусь.

Он умел шумно радоваться. Шурке это нравилось.

В клубе

С тех пор как Шуркина мать устроилась уборщицей в клуб, а вернее, в РДК – районный Дом культуры, забот прибавилось. Помещение большое, и хлопот с ним немало.

На его долю выпало помогать матери: поздно вечером, после сеансов, подметать полы в большом зале, перед тем как она их будет мыть. В слякотную погоду грязи на полу под сиденьями неупорот и ее трудно выметать, так как все ряды кресел крепко прибиты к полу.

Еще досаднее Шурке выметать шелуху от семечек, которой иногда набирается почти полное ведро. Особенно, если сдвоенные сеансы в 19–00 и 21–00. Шурка не понимал, как можно во время киносеанса грызть семечки. И не от того, что ему приходилось выметать шелуху или он считал это некультурным. Просто, сидя в зале, он ни о чем не думал, кроме действия на экране. Для него неинтересного кино не было.

Кино для Шурки – чудо, к которому он привыкнуть не мог.

Вчера вечером был двухсерийный фильм, поэтому с утра у Шурки работы достаточно. В фойе, как обычно, было несколько человек: кто пиликал на баяне, кто смотрел подшивки журнала «Сельская жизнь», кто просто не знал, куда себя деть. Шурка помнил, что должна быть репетиция духового оркестра, поэтому решил быстренько выполнить свои обязанности и послушать музыку. Он взял ведро с веником и вошел в полутемный зал.

Зрительный зал и сцена его волновали всегда. Здесь чувствовалось присутствие какой-то тайны. На полуосвещенной сцене стояло пианино, которое как живое, элегантное, таинственное, божественное существо, манило и пугало Шурку. В отличие от своих сверстников он не мог запросто подойти к нему и пытаться извлекать звуки. Его охватывал трепет перед этим существом, которое представляло собой часть того неведомого, таинственного и завораживающего мира, который зовется музыкой.

Ему, как никому, представлялась возможность попробовать потрогать клавиши, ведь он иногда приходил совсем один, открывал клуб и подметал пол. Но он этого не делал. И это не было робостью. Ведь не робел же он, когда выходил на сцену играть в постановках перед целым залом, который вмещал триста человек. Его публика выделяла. Он не терялся на сцене, что было даже для него самого удивительно. Его заряжало присутствие народа, и что-то подталкивало делать так, как ему казалось необходимым. Когда он забывал текст (а это было редко), он с ходу вставлял свои слова и так же ловко помогал выпутываться партнеру, которого внезапная фраза выбивала из строя. Он видел всю пьесу, всю ее продумал, его герой ему был понятен, поэтому часто догадывался, что мог бы еще сказать его персонаж, но не сказал.

Однажды после такой игры Валентина Яковлевна подошла к нему, прижала его к груди, отчего Шурка чуть не задохнулся, и, театрально воздев руки вверх, сверкая своими красивыми цыганскими глазами, гроыхнула:

– Посмотрите на него, это не Шурка Ковальский – это будущий великий артист.

И поцеловала смачно в губы.

Всем известно, их худрук полумер не знала. У нее все либо гениально, либо: «не то, не то, не то, дьяволы, черти гадкие». Но все же Шурка и сам чувствовал, что в нем, когда он выходил на сцену, начинал гореть какой-то непонятный ему огонь, он в это время соприкасался с чем-то большим и магическим: то ли это правда, которую надо сказать людям, сидящим в зале, то ли истина, без которой все в округе, если они ее не поймут, будут обездолены, то ли кусок чужей-то жизни, о которой обязательно надо поведать другим людям, иначе тот, кого он играет, будет обездолен – его не услышат, о нем не будут знать. Зачем же тогда он жил?

Так часто думал Шурка, ему было интересно, почему он становился на сцене таким отчаянным, не похожим на себя в обычной жизни. И кто же он и какой на самом деле? И как другие люди к себе сами относятся? То, что совсем недавно стало случаться ночью, и чему он много

позже, уже студентом, узнал название: «поллюции», обескураживало его. Он не знал, что это такое и как к этому относиться. Урод он или так бывает у всех? Было как бы два Шурки: один неосознанно стремился к чистому и красивому, и другой – тот, который пугался и не знал, что с ним творится.

Похожее с ним было. Но вспомнив об этом, он теперь только улыбался: в первом классе Шурка был потрясен, увидев свою первую учительницу, красивую и справедливую Нину Николаевну, выходящей из обычного школьного туалета. Это его тогда убило. И он долго не мог этого принять.

...Шелухи от семечек в этот раз оказалось много. Шурка намел в ведро больше половины, а всего-то прошелся по половине зала. Решив передохнуть, он сел в кресло и грустно повел глазами. Зал был большой. С обеих сторон сцены висели огромные из красного материала плакаты с ленинскими изречениями. Слева от сцены было написано: «Самым важнейшим из всех искусств для нас является кино». Справа: «Искусство принадлежит народу – оно уходит своими глубочайшими корнями в самую толщу широких народных масс...» Шурка уже хотел встать, как вдруг на сцену легко выпорхнула Верочка Рогожинская. Как-то по-домашнему, запросто села к пианино. И не успел Шурка опомниться, как на сцене зазвучала мелодия, звуки которой, он это физически чувствовал, сначала заполнили сцену, оттуда перескочили через оркестровую яму и полились на него одного, сидевшего в полутемном зале. Конечно, Верочка не знала, что кто-то сидит в зале, а уж тем более не ожидала увидеть здесь его. А ему это как раз было не надо.

Он забыл обо всем. Он видел и слышал только ее.

Ее легкие белые руки, нет, вся она, освещенная ярким светом, исторгала такие прекрасные и нежные звуки, которых он никогда не слышал. Он забыл обо всем. Ведро с шелухой стояло около его ног, и он невольно задел его, оно чуть звякнуло, это Шурку привело в ужас, но на сцене все было по-прежнему: милая, прекрасная и незнакомая музыка. И вдруг на мгновение музыка прекратилась, Верочка откинулась на спинку стула, опустила руки вниз и так забылась на некоторое время. Она была красива, прекрасна! Это Шурка понял и не скрывал от себя. Такого лица, таких рук, такой музыки Шурка никогда не видел и не слышал. Такого в селе его не было. Это было оттуда, из той, далекой от села жизни, которую он пока не знал и которая была таинственной и чужой. Так ему казалось.

Верочка вскинула руки и легко и плавно опустила на клавиши. Шурка не сразу понял, что случилось. В следующую же секунду он оказался во власти чарующей, завораживающей светлой, но грустной до слез мелодии. Тревожно-торжественные звуки будоражили его. Верочка играла полонез Огинского. Как и тогда, во дворе у Кочетковых, Шурка вновь почувствовал необъяснимую тоску, недостижимость мечты, неизбежность утраты. Музыка лилась в зал. Пустой зал вбирал ее и обрушивал на одного-единственного слушателя – Шурку...

Музыка растрогала и растворила его. Он забыл обо всем. Он видел, уже как в тумане, красивую девочку на сцене, вернее – силуэт ее, тонул в звуках необъяснимо прекрасной мелодии, и все это было недостижимо и сказочно, и все проходило мимо – мимо его жизни, он это чувствовал. Он заплакал. Слезы сначала не давали ему отчетливо видеть, потом стало трудно дышать. Он не понимал, почему плачет. Да ему было и не до того. Он вновь задел ведро, оно, звякнув дужкой, опрокинулось и покатилося вокруг Шуркиных ног, просыпав полукругом содержимое. Он, спохватившись, поймал его, но было уже поздно.

Верочка перестала играть, встала и подошла к краю сцены перед оркестровой ямой. Близоруко оглядела затемненный зал, и вдруг их взгляды встретились.

– Александр, ты?

– Я, – непонятно почему, виновато сказал Шурка.

– А что ты здесь делаешь один в зале? У нас репетиция вечером.

Шурка молчал. «И чудовищно глупо говорить ей, которая умеет так играть, что я подметаю здесь пол», – усмехнулся он про себя, только бы она не спустилась со сцены, иначе все увидит.

Но Верочка не спустилась к Шурке. Она взмахнула своей легкой ручкой и попрощалась:

– Ну, пока! До репетиции!

И засмеялась. В ее смехе Шурке не послышалось ни превосходства над ним, ни насмешки.

Веня Сухов застрелился

Эту печальную весть принес Шуркин дед, вернувшись с базара. У Вени была новенькая одностволка «тулка», в отцовском амбаре он выстрелил картечью из нее себе в рот.

– Ваня, что же он глупый думал, когда делал это, а? – Бабка Груня стоит у печки, доставая ухватом закопченный казанок.

– Отец не отпускал его в Сибирь жить, да и жененка его, Варька, тоже не хотела. А у него с детства мечта такая.

– Шурка, ты будешь зайчатину, с вчерашнего осталась?

– Ага, буду, – только и ответил Шурка машинально. Перед его глазами стоял красивый кудрявый светловолосый Венька, который еще на прошлой неделе, когда приходил за Барклаем, показывал ему, как привязывать на леску из конского волоса крючок замысловатым узлом с восьмеркой.

– Вот дядю его родного насильно сослали, а Венька добровольно не смог уехать, – задумчиво проговорил дед.

– Они, может, и правы, Ваня, все-таки с одной рукой в чужих краях тяжело. Зря, может, втемяшилось ему.

– Вот это его и сгубило, что все без конца говорили, что он инвалид. А он не инвалид, любой мужик на охоте против него ничего не стоил. Все со своими ижевками двенадцатого калибра ничто против его шестнадцатикалиберной одностволки. Он же артист от природы. А чутье у него какое? Как у собаки. Его и на фронте спасла охотничья жилка. Он рассказывал мне.

Шурка лежал на печке, где у него своя библиотечка, щеки его все в слезах. «Как непонятно, – думал он, – был веселый шутник Веня, ничего такого горького внешне в нем не было и вдруг – застрелился. Выходит, в каждом из окружающих кроме видимой жизни есть такое, о чем можно не знать, но именно оно управляет поступками и жизнью человека».

Ему вспомнилось почему-то, как он работал на делянке за старицей, когда они валили осокори для досок на крышу и пол для дома, как наловили вместе на яички муравьев почти полное ведро карасей, а потом наварили ухи на всю артель. Тогда еще Шурка опростоволохился. Когда садились есть уху в круг на разостланный большой брезентовый плащ, Шурка в приподнятом настроении от того, что именно он сегодня кормилец, так как наловил столько карасей, сказал:

– Чего вы все как татары в шапках сидите за столом?

После его слов воцарилась мертвая тишина, а потом лесную поляну огласил дружный хохот, потому что единственный татарин, всеми уважаемый степенный Равиль, сидел и ужинал без головного убора, а все русские – в фуражках.

Равиль только сверкнул по-молодому озорно одним своим карим глазом, а второго Шурка не увидел, он был завязан белой тряпкой.

– Эх, голова садовая, – сказал Венька чуть позже, – сначала думай, потом говори, а то ведь влопался.

И вот теперь Веньки нет.

Чирки

Пришедшая за пахтонкой Нюра Сисямкина сказала:

– Сейчас, с утречка, ходила в Тяголовку к Машурке за овечьими ножницами, там в рывине так много уток диких, сроду такого не было.

– Дак вчера открытие охоты было в Ильмене, городские канонаду устроили, – откликнулся отец Шурки, выходя из своей шорни, – вот они и попрятались по укромным местам.

– Я тоже разок видела, они хитрые, садятся ближе к дворским, чтобы не выделяться, – подтвердила Катерина.

– Что, Шурка, слабо тебе со своей тулкой?

– Отец, будет тебе. Зачем парня будоражишь, – возразила мать Шурки.

Но Шурка уже загорелся: «Мать честная, у меня один патрон всего заряженный, заряжать некогда, успеют распугать. Рискну!».

Через минуту выводил из сарая велосипед. «На рамке» с седла он педалей не доставал.

– Поосторожней, кругом там люди, скотина, – беспокоилась Катерина.

– Ладно, мам, маленький, что ли?

Шурка выехал со двора. Доехал он быстро. Уток заметил сразу. Их было много, десятка три.

«Чирки, – определил с досадой Шурка, – хотя бы одна кряква была».

Он решил подъехать как можно ближе.

Утки не взлетели. Они потихоньку несколькими табунками спешили уплыть за изгиб рывины – прятались, не поднимались на крыло, очевидно, напуганные пальбой в Ильмене.

Шурка положил велосипед и хотел разломить одностволку, чтобы вложить патрон. Однако это ему не удалось, запал боек и, высунувшись маленьким язычком, стопорил ствол. Погнувшись, он заклинил намертво.

Наставив отвертку на упрямый язычок, Шурка ударом ладони по рукоятке пытался выпрямить боек. Это ему удалось, но он, неловко повернувшись, ткнул стволом о велосипедную раму. Металл звякнул – этого было достаточно, чтобы утки шумно взлетели и нестройно подались к Ильмену.

Шурка отбросил отвертку, положив ружье на траву, лег рядом. Он решил, что потерпел неудачу и принял ее спокойно. Но странное дело: утки вернулись. Прошелестев огромной стаей над Шуркой, они сели метрах в сорока от прежнего места, под обрывом.

Он встал, зарядил ружье и пошел, пригнувшись, к обрыву. Уток было много, это он видел, когда они летели. Но то, что он обнаружил, подкравшись к обрыву, его изумило! Такого скопления чирков в одном месте он никогда не встречал.

Шурка спокойно улегся на краю обрыва. До уток было метров тридцать. Выбрал тщательно место для локтя, примяв для этого кустики пырея. Взвел потихоньку курок, чтобы не щелкнуть.

Под Шуркин резкий свист утки суматошно поднялись с воды, и он выстрелил, не целясь, не в какую-то одну, а наугад – в кучу.

Он разочарованно смотрел на добычу: на воде неподвижно лежали всего три утки и один подранок – нырок скрылся, как поплавок, под водой. Невесть откуда взявшийся сарыч, не снижаясь, закружил над ними.

– Классный выстрел, – совсем неожиданно прозвучало над ухом у Шурки.

Он оглянулся. За его спиной сидел Андрей Плаксин.

– Хуже не бывает. Дробь мелкая, только прошелестела по крыльям, не взяла. И далеко-далеко было, – уныло отозвался Шурка, – я думал, что не менее десятка будет – их же туча сидела.

– А я давно за тобой следил, но, чтобы не мешать, молчал, хотел посмотреть, как ты стреляешь, – отчего-то радостно докладывал Андрей.

– А как оказался здесь?

– Я за Гнедым пришел, вон он спутанный, отец послал.

– Эх ты, – удивился Шурка, – а я Гнедого и не видел.

– Не видел? – еще больше удивился Андрей. – Уток видел, а Гнедого нет?

– Нет, – подтвердил Шурка, – одни утки были в голове.

– Ну ты, Дерсу Узала, даешь! А вдруг это был бы не Гнедой, а Амба?

Пиковая дама

Два дня дядька Сережа самозабвенно трудился: рисовал красками портрет Пушкина. В сенцах на сундуке, обшитом цветастой клеенкой, разложены кисти и краски. На стуле лежал уже законченный портрет. Шурка сел на порог сеней и восторженно следил за движениями дядькиной левой руки.

– Зачем тебе второй портрет? – спросил он.

– Попросила бабка Прасковья нарисовать. Сегодня обещала прийти.

Вон уже идет.

...Большими потрескавшимися и темными, как корневище, руками бабка Прасковья взяла на колени в голубой рамке портрет. По-детски вслух удивилась:

– Как это... несколько строчек, линий и – вот он, Пушкин!

Лицо ее, клеклое и серое, делается строгим и печальным:

– Сережа, а это он написал про пиковую даму? Очень хочется почитать, ты достань мне книжицу, а? Мне Германа жалко, а старуху нет. Достань. Я несколько раз слыхала по радио, как он поет, а вот почитать хочется про него самой, бедняжка он.

Сняла с головы белый в горошек платок, осторожно завернула портрет.

– Спасибо тебе, Сереженька, за подарок.

Направилась к калитке. Остановилась, о чем-то задумавшись, вернулась к порогу:

– Ты, Сереженька, береги свои способности, это редкость редкостная. За мои восемьдесят лет у нас только два таланта случились: Коля и Ванечка Рожковы. Теперь музыканты, в Москве али в Ленинграде, Евдокия сказывала, живут. Может, и у тебя талант. Редкость редкостная.

– Кто такие Рожковы? – спросил Шурка у Сережи.

– Уже дядьки пожилые, я их видел в позапрошлом году, с филармонией к нам приезжали. Интересные. Когда все чужие артисты уехали, они остались на побывку, а жить негде, родных уже нет никого. Первую ночь ночевали в клубе, потом мама к себе позвала. Они с отцом потом сидели выпивали и так здорово играли на балалайке и баяне, что страх. А на другой день сильно были грустными и оба плакали.

– Почему?

– Ходили на могилки и не нашли, где мать лежит. Все изменилось. Ни креста, ни какой приметины.

...Дядька Сережа быстренько собрал краски и понес в погребницу.

Он в последнее время все делал быстро. И тому есть причина. Наступавшая осень несла перемены в их дом. Алексей женился на приехавшей учительнице. У нее казенная квартира от школы, он собирался перебраться туда. А дядька Сережа неожиданно для всех успешно сдал экзамены в строительный институт и через неделю уезжал на учебу в Куйбышев.

Шурка грустил, хотя не сразу и сказал бы отчего. Что-то менялось в его жизни, уходило безвозвратно.

Из избы вышла баба Груня:

– Ты что пригорюнился, а?

– Да так.

– Приходи вечером, будем читать книжку про Мюнхгаузена, чудная такая.

– Хорошо, приду, баб!

Разговор двух мужчин

С приездом Верочки Шурка на некоторые вещи стал смотреть по-иному. С легкой руки Валентины Яковлевны его в прошлом году записали в танцевальный кружок, и там он стал солистом. Теперь он танцевал национальные танцы. Все шло хорошо, ему нравились костюмы, дотошное изучение разных движений незнакомых танцев, радостный всплеск аплодисментов, которыми всегда награждали танцоров. С танцевальной группой он уже был в Покровке, Кулешовке, выступали под открытым небом на полевых станах.

Но однажды радость от всего этого померкла. В большом классе в школе, когда шла генеральная репетиция, танцевали молдавский танец. В самой середине танца он вдруг увидел Верочку. Она сидела у окошка, ее смуглое лицо было освещено наполовину ласковым сентябрьским солнцем, она шурилась и прятала свою голову, прикрывшись тетрадкой, и когда их взгляды встретились, она отвела глаза, губы ее приоткрылись: как будто она хотела что-то сказать, но не сказала, только подумала, и ироническая улыбка тенью скользнула по ее лицу. У Шурки что-то оборвалось внутри.

Когда репетиция кончилась, он хотел подойти к ней, но не успел – она вместе с другими убежала в спортзал. «Я понял, я все понял, – твердил он про себя, – ей смешно было смотреть, как я танцую, я выглядел смешно, ведь все девчата выше меня ростом, они за этот год вымахали на голову выше меня, а я, чудак, все танцую». Он и раньше ревностно ловил взгляды ребят, не смеются ли они, что он меньше всех, а солист, но все было вроде бы нормально. А не оттого ли так хлопают ему зрители, что он просто маленький и это всех забавляет? Но то было раньше, а теперь все видит Верочка Рогожинская. «Не буду больше танцевать», – решил он.

Но все оказалось намного сложнее. Когда классная руководительница, сухая и подозрительная Лидия Николаевна узнала о его решении, она ударилась в панику.

– Нет, Ковальский, ты просто зазнался, с тобой везде носятся как с писаной торбой, вот ты и возомнил... Это надо же – вся программа рухнет – там пять танцев с твоим участием.

– Не рухнет, возьмите Женьку Рязанова, он вам что хотите станцует. И лучше меня.

– Ты что, смеешься надо мной? Он же вечерник, ему семнадцать.

– Ну и что?

– А честь класса? Ведь ты же представляешь – на торжественном концерте весь наш класс.

– Ну и что?

– Как ты не понимаешь, это же праздничный концерт, посвященный седьмому ноября!

– Ну и что, Лидия Николаевна, не буду я танцевать!

– Скажи причину.

– Мне разонравились танцы, – упирался Шурка.

– Ты не можешь так говорить, ты не один, ты не вправе подводить коллектив.

Уговоры ни к чему не привели, и на следующий день с утра Лидия Николаевна объявила Шурке, что его вызывает директор школы после первого урока. Шурку это не очень сильно напугало, он уже понял, что так просто его не оставят в покое. Очень не хотелось ему, чтобы вызывали в школу родителей: отец все равно не пойдет, а маму было жалко, ведь никто ничего не поймет.

...Когда он вошел в кабинет директора, Николай Николаевич – большой, грузный со смешными длинными бровями, которые, как усы, торчали в разные стороны лица, – говорил по телефону. Когда закончил, сказал:

– Ну как дела, народный артист?

Шурка молчал.

– Ну да, брат, – примирительно сказал директор, – я того, не остыл, не то говорю, не обижайся. Что молчишь, садись вот на стул.

Шурка сел. «Он что, со всеми так? – подумал Шурка, – тогда что же его все боятся, он же все понимает и, по-моему, обо мне все знает, и про Верочку тоже».

Зазвонил телефон, но Николай Николаевич трубку не взял.

– Не дадут поговорить, понимаешь, вот дела.

Шурка следил краем глаза за всеми движениями хозяина кабинета.

То, что тот не взял трубку, ему понравилось.

– Видишь ли, ты еще молодой, – он сказал молодой, а не маленький – это Шурка отметил. – Может, поймешь попозже – нельзя так пренебрегать коллективом, только свой каприз лелеять. Это тебе будет в жизни мешать, понимаешь? Ты что, вообще не будешь танцевать больше?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.